

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://seminvitaly.ru/> Приятного чтения!

Плотина. Виталий Николаевич Семин

ЧАСТЬ 1

1

И через пять месяцев после освобождения и победы у меня не было сил. Я не мог работать топором, держа его за рукоятку одной рукой, кирка тянула меня на себя вперед, я боялся высоты и вообще быстро задыхался и выдыхался.

Мы, сотни четыре таких же, как я, ребят, ожидали призыва в армию в рабочем батальоне. Не везти же нас из Германии домой, а потом из дому опять в Германию – так объяснили нам.

А вообще в нашей работе было много приятного. Приятно крошить молотом бетонные фундаменты под станками в цехе, где до сих пор валялись короткие стволики так и не собранных автоматов. Они гремели у нас под ногами, мы подбирали уже почти готовое оружие, удивлялись грубости и простоте обработки: шершавая зеленая краска на кожухе охлаждения, грубая проволока приклада, ствол не полирован, на нем нестертые следы токарного резца. Спешили немцы, гнали изо всех сил, не до красоты им было. В другом цехе свалены странные металлические конусы, говорят, это части «фау». «фау-два». Сотни таких конусов ржавели тут. Никогда им уже не стать корпусом летающего снаряда.

Ночевали мы в бараках, в которых жили русские военнопленные, работавшие на этом заводе. В бараках ни нар, ни столов, ни скамеек – только крыша и полы. В день освобождения военнопленные переломали и сожгли все, что можно было ломать и жечь. Мы понимали их, потому что в день освобождения поступили точно так же. Мы и минуты не могли тогда оставаться в своих бараках. Ночевали во дворе лагеря, а потом совсем ушли из него в поселении в казармах, из которых удрала немецкая охрана большой радиостанции.

Конечно, начальству виднее, но возвращаться после работы в бараки для военнопленных неприятно. Почти так же, как слушать наше главное начальство, майора Панова. Для бесед с ним нас выстраивали четырехугольником. Удивительно часто Панов находил предлоги, чтобы назвать себя перед нами «старшим офицером».

– Вчера трое из вас в обеденный перерыв вышли за пределы заводской территории. Их задержали в немецком магазине. Даже мне, старшему офицеру...

Или:

– Эй, ты! Как твоя фамилия?! Как стоишь?! Строй для солдата – святое место! Земля под тобой проваливается, а ты должен стоять! Я старший офицер, но и мне...

– А мы не солдаты!

– Кто это сказал?! Я спрашиваю, кто это сказал?! Будете здесь стоять, пока не сообщите, кто это сказал!

Минут через десять молчания:

– Р-р-разойдись!

К счастью, Панов какой-то общий начальник. От его имени исходят все запреты, но видим мы его редко – в дни чрезвычайных происшествий и разом все четвереста, выстроенные четырехугольником. Работаем же мы с военными инженерами и техниками, людьми занятыми, которые не выделяют и не отделяют нас от старых солдат-саперов.

Капитан, у которого я работаю, сказал нашей бригаде, что надо остаться на ночь грузить вагоны. Отпустить лишь явных доходяг, чтобы они не поубивали самих себя и других ящиками не задавили. Я доходяга самолюбивый, и я остался.

Грузили на железнодорожные платформы стальные баллоны. То есть не сразу грузили. Баллоны эти, похожие на увеличенные в сто раз огнетушители, были вертикально укреплены на стене какого-то специального цеха. Чтобы снять их, мы подняли на крышу две швеллерные балки, укрепили их, на балках установили тали, снизу под

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
баллоны подвели помост. Черт его знает, как мы их спустили, а все-таки спустили.

Когда вкатывали баллоны на железнодорожную платформу, я уперся руками в стальную стенку. Пожилой солдат, из тех которые руководили нами, сказал мне:

– Ломик возьми. На руки не больно уповай. И правда, куда уж мне было уповать на свои руки! Очень тонки.

Под утро мы справились, вагоны ушли. Начинался новый рабочий день, и капитан, пообещав, что объявит перед строем благодарность, повел нас на новый участок.

После ужина мы обмывались под водонапорной колонкой. Я закатал брюки выше колен – снять совсем стеснялся – и было дождался своей очереди, когда вдруг выкликнули мою фамилию. Я оглянулся. Среди полураздетых мужиков, вытирающихся полотенцами, рубашками, тряпками, кто чем горазд (мы же еще не солдаты, казенного у нас ничего нет), стояла писарша из штаба, единственная женщина в части, не носящая военной формы. Она сурово и даже презрительно – ей неудобно под нашими взглядами – осматривала нашу очередь. Сурово и равнодушно она взглянула на меня. И я понял, она меня не знает, и несколько секунд соображал, не лучше ли мне смыться и где-нибудь пересидеть. Хватит с меня на сегодня. К тому же недавно поругался с нашим старшиной, а он человек мстительный.

Однако парень, стоявший за мной, подтолкнул меня.

– Тебя вызывают.

Я нехотя вышел.

– Бегом в штаб, – сказала писарша. – Там твой отец приехал.

Кажется, первое, что я почувствовал, была какая-то пустота. Наверно, я просто не в состоянии был соединить с собой то, что она сказала. Ни из дому, ни от отца я еще не имел ни строчки. Домой я не писал три года. Вначале не писал из Германии потому, что, сбегав один раз, готовился к новому побегу, потом не писал потому, что из лагеря противно, противоестественно писать, наконец, потому, что город мой опять отбили наши, а через фронт письма не ходят. Когда закончилась война, я оказался в американской зоне и лишь совсем недавно, с месяц назад, опустил в почтовый ящик первую открытку. Всю войну я о своем доме думал, как о чем-то незыблемом. А вот когда надписывал адрес на первой открытке, испугался: война ведь там проходила! И еще, странно сказать, испугался: а вдруг я забыл адрес?! Вроде помню, а на самом деле забыл. И чем больше дней проходило, тем больше я боялся – и дома нет, и адрес я напутал. А тут вдруг отец...

– А вы не спутали? – хрипло спросил я.

Я все еще не испытывал прилива счастья. Понимал, что я счастливейший человек если не на всем свете, то, во всяком случае, среди тех четырехсот, которые живут в этом лагере, но радость ко мне не приходила. А вокруг нас уже собирались ошеломленные ребята.

– Да беги ж ты! – сказали мне.

– Дайте я помоюсь, – сказал я, и все расступились, пуская меня к колонке. – А как же комендантский час? – спросил я у писарши. – Восемь часов уже, не задержат?

Мыться я не стал, не стал и ждать ответа на свой вопрос. Я побежал, откатывая на ходу брюки. Видно, очень плохо и очень медленно бежал, потому что писарша все время меня опережала, а она-то на бег не переходила совсем. К штабу надо было пройти через всю заводскую территорию, дорога шла на подъем, и я совсем задохнулся и выбился из сил.

Штаб располагался в здании бывшего заводоуправления. В окнах первого этажа горел свет, я заглянул в окно и сразу увидел отца. Он сидел спиной к окну. Мне были видны только его затылок и плечи, волосы его побелели, одет он был в гимнастерку, но я сразу узнал его. Сидел он так, как всегда сидел среди чужих – чопорно-вежливый, напряженный, стесняющийся своей глухоты человек. И гимнастерка у него была как раз такой, какой она должна быть у моего отца, – не новой, но

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
почти как новой: выстиранной и выглаженной будто не в прачечной, а своими руками и будто не позже, чем сегодня утром.

В комнате, куда я вбежал, отец поднимался, поднимался мне навстречу и никак не мог подняться со стула. А я смотрел на его плечи. Пока я бежал сюда, я надеялся – раз уж мне привалило счастье, – что отец по званию окажется старше майора Панова или, по крайней мере, будет равен ему, а отец был совсем без погон...

Потом он долго и беззвучно плакал. Вытрет слезы платком или ладонью, решительно так вытрет – все, кончил плакать! – и тут же глаза его опять начинают страдальчески таять. Так мы с ним молча сидели несколько минут, и я все время с неудобством чувствовал, как много в комнате людей. Наконец он решил заговорить. Голос еще не повиновался ему:

– Уже, наверно, куришь?

Я кивнул. Отец достал пачку папирос, вытащил одну, неумело сдвинул мундштук и неумело прикурил. А может, мне только казалось, что неумело – до войны отец не курил.

– Как же ты нашел меня? – спросил я и почувствовал, как отвык от него, мне трудно и непривычно говорить ему «ты».

Глаза у отца опять начали страдальчески таять, он виновато оглянулся на людей.

– Знаешь, я уже говорил, если первое твое рождение досталось матери, то второе...

К нам подошел начальник штаба, старший лейтенант, парень лет двадцати пяти с приятным лицом веселого и чуть нагловатого малого. Почтительно и громко – уже понял, что отец плохо слышит, – предложил:

– Идемте, я вас проведу в свою комнату, – он показал вверх, – там вам будет удобнее поговорить.

– Пусть и ночуют там, Николаев, – сказал кто-то. И начальник штаба охотно подтвердил:

– Конечно, и ночуйте. А я где-нибудь пересплю.

Он пошел вперед, за ним мы с отцом, а за нами военные, которые все время сидели в комнате. Они шли за нами как привязанные. Они ничего не говорили, только шли за нами и смотрели на нас.

В комнате начальника штаба пахло духами, пудрой. Широкая двуспальная кровать была покрыта крахмально-белой накидкой – начальник штаба недавно женился на той самой писарше, которая приходила за мной в лагерь.

Столик, за которым мы с отцом присели, тоже был крахмальным и кружевным, уставленным флаконами и баночками.

На минуту в комнате появилась сама писарша, улыбнулась мне успокаивающе, поощрительно.

– Разговаривайте, разговаривайте, – сказала она. – Я только взять одеяло. А вы спите на этой кровати. – Потом спросила меня вполголоса: – Отец плохо слышит?

– Он контужен, – гордо сказал я.

– А я сразу поняла, что ты его сын. Ты спрашиваешь, не ошиблась ли я, а я вижу, что не ошиблась. И волосы те же, и лоб.

И еще она сказала:

– Правда, это как в сказке – отец в Германии нашел сына? Все просто потрясены.

Отец не вслушивался в то, о чем мы говорили. Он был контужен давно, еще на первой мировой, и привык к тому, что вполголоса люди при нем говорят о своем.

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

Когда мы остались одни, я попытался рассказать отцу о том, что было со мной в Германии, но, как ни силился, что-то главное никак не мог передать ему. Больше всего мне хотелось, чтобы отец почувствовал, каким бывалым, все видевшим и все испытавшим мужчиной я стал. Я показывал ему шрам во всю тыльную сторону левой кисти – сам выжигал кислотой, чтобы не работать. Говорил:

– Теперь я, знаешь, какой выносливый?! Могу работать по двое суток без перерыва. В Лангенберге на вальцепрокатном была норма – сто сорок листов в смену. Каждый лист – килограммов двадцать, его надо поднять на грудь пятнадцать раз да каждый раз пронести шагов по десять. Вот и помножь!

Тут с отцом сделалась судорожная икота. Когда он немного успокоился, я показал ему свою правую руку: до сих пор, когда умываюсь, проливаю воду из пригоршни – мастер железной палкой перебил мне предплечье, а кость неправильно срослась.

Я не жалел отца. Я собирался просить у него папирос и заранее старался, чтобы он дал побольше – многих нужно было угостить у себя, в бараке. Даже мстительное чувство у меня стало разгораться, когда отец сказал, что еды у него с собой нет. Консервы из своего сухого пайка он оставил в номере гостиницы.

Эти забытые в гостинице консервы портили мне радость свидания. У отца есть консервы, и он не догадался, как они мне нужны! Придется соврать в бараке, что отец кормил меня тушенкой. Дал целую банку – ешь!

И вообще мне казалось, что отец чего-то не понимает. Вот и без погон сюда приехал! Хотя из-за своего слуха он и не был боевым офицером на этой войне, хоть и служил начфином в своей части и еще до победы демобилизовался и перешел на положение вольнонаемного, а мог бы приехать в погонах.

Искал меня отец трудно. Открытку, которую я послал домой, мать переслала ему в часть под Кенигсберг. В открытке я почему-то не назвал городок, где работал, сообщил только, что нахожусь под Берлином.

– Может, цензура вычеркнула? – спросил я.

Отец показал мне открытку – цензура ничего не вычеркивала. Я сам неведомо как забыл написать название городка. На минуту я ужаснулся этому провалу памяти – не решился бы отец искать меня по номеру полевой почты, и не сидел бы он сейчас передо мной.

Потом отец рассказывал, как ехал до Берлина, как ему всюду помогали, стоило ему лишь сказать, что он ищет сына. В Берлине он оставил свой чемодан в камере хранения на Бранденбургском вокзале, захватил самое необходимое и отправился разыскивать управление военно-полевых почт. Нашел, хотел поговорить с начальником, но задержался около почтового грузовичка. И надо же, грузовичок вез почту с тем самым номером, который я указал в открытке. И, хоть это было против всех правил и инструкций, шофер и экспедитор взяли отца с собой. Грузовичок остановился против ворот нашего завода.

– Я сердцем, понимаешь, сердцем почувствовал...

И еще он рассказывал, как благодарил шофера и экспедитора, как был благодарен начальнику штаба нашей части, который сразу же принял его, установил, что я здесь, послал за мной и обещал всяческое содействие. Как всегда, когда отец говорил со мной, весь мир у него оказывался наполненным прекрасными людьми, а веселый, франтоватый и нагловатый малый, не дурак выпить, неплохой парень, наш начальник штаба выглядел этаким чутким, благородным, блестящим офицером. Все это отец говорил не только для того, чтобы я знал, как он добирался сюда, – по старой привычке он воспитывал меня, хотел, чтобы я вместе с ним был благодарен всем этим людям. И о себе он тоже наивно и красиво сказал, что второе мое рождение досталось ему.

У меня не было слез, когда писарша сказала, что приехал отец, я не прослезился, когда вбежал к нему в комнату штаба, а тут мне неудержимо захотелось плакать. Он говорил, а я вспоминал то, что старался, но никак не мог передать ему о себе, о Германии. О том, как тяжело и страшно мне было там, как свирепо меня избили в первом лагере и как били потом, как я ходил со сломанной рукой в гипсе, а под гипсом завелись вши, и я, не выдержав зуда, сломал гипс. Как лагерный придурок

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

Иван говорил мне «по-доброму»: «Ты не жилец. Может, и дотянешь до конца войны, но все равно не жилец». Как я зимой и летом ходил в рваном пиджаке на голое тело, в рваных брюках и деревянных колодках. И еще вспоминалось мне, как я окончательно стал доходягой, который, разгибаясь, видит перед собой оранжевые круги, и как я учился, силился скрывать, что я доходяга, потому что это был единственный способ сохранить к себе уважение и, следовательно, надежду на жизнь.

– А ты не был ранен? – спросил я.

Отец смутился.

– Ты же знаешь, я не был на передовой.

Потом мы перебирали наших родственников-мужчин, и это было тревожно и, несмотря ни на что, радостно, как возвращение домой. Один мой дядька в госпитале, попал туда перед самым концом войны, но, слава богу, с легким ранением. Старшему моему двоюродному брату как-то очень горько не повезло: сам он цел, ни одной царапины, хотя с первого дня на фронте, а вот сын его четырехлетний и жена умерли – сын в сорок вторым в эвакуации, а жена в сорок пятом, вернувшись из эвакуации домой. И среди знакомых – тот убит, тот потерял семью, но вообще много и живых. Живых больше, чем погибших и пропавших без вести. Со мной вместе одного паренька из нашего двора в Германию угоняли, недавно объявился. И еще кто-то объявился, хотя считали его погибшим.

Так мы разговаривали с отцом, курили папиросы и привыкали друг к другу.

А часов в одиннадцать к нам постучался начальник штаба. Лицо его было растерянным.

– Черт его знает, – скороговоркой сказал он мне, – начальство, понимаешь, не разрешает, чтобы отец твой на территории завода оставался ночевать. – И громко: – Извините! У нас есть распоряжение: посторонние после отбоя не могут оставаться на территории завода. Я думал, что можно будет сделать исключение, но, оказывается, нельзя. Мы с женой, понимаете, готовы, но нельзя.

Отец, напряженно всматривавшийся и выслушивавшийся – волнуясь, он хуже слышит – в то, что говорил начальник штаба, покраснел, поднялся, снял со спинки стула ремень, стал перепоясываться.

– Что ж делать, если нельзя, – говорил он. – Инструкция – это инструкция. Зачем же нарушать инструкцию..

– Да вы не спешите, – сказал начальник штаба, – у вас еще есть время. – Он взглянул на часы. – Вы располагаете.. Еще двадцать.. – он запнулся, – десять минут в вашем распоряжении.

Когда он вышел, я спросил отца:

– Ты заберешь меня отсюда?

Мне давно хотелось спросить его об этом, с той самой минуты, как я увидел, что он без погон, а теперь я по-настоящему испугался.

– Конечно! – сказал отец.

Провожавший нас начальник штаба на минуту задержал меня.

– Понимаешь, я хотел тебя завтра освободить от работы, чтобы с отцом день побыл, но не получилось. Панов не разрешил. Ты приходи сюда после ужина, я старшине скажу, он отпустит. А в воскресенье я постараюсь достать для тебя отпуск в город, чтобы ты с отцом погулял. Хотя вообще с отпусками в город трудно.. А сейчас я дам тебе провожатого, а то тебя по дороге задержат.

В бараке меня ждали, ждали моих папирос – на папиросы тут стали рассчитывать, как только узнали, что ко мне приехал отец. Я сказал, что наелся тушенки, что и завтра отец принесет мне целую банку, так что я, может быть, отдам кому-нибудь свою баланду. Сказал, что сам начальник штаба оставлял нас у себя ночевать, да

Плотина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru

Панов запретил. В комнате закурили, завздыхали, заворочались. Я улегся рядом со своим земляком Костиком на его одеяло – свое одеяло я по глупости оставил в вагоне поезда, которым американцы довели нас до нашей демаркационной зоны, – и, кажется, наконец-то почувствовал себя счастливым. Случилось невозможное: я, недобытчик, доходяга, смог угостить папиросами пятнадцать человек да еще пообещал отдать кому-нибудь завтра свою баланду.

– Костик, – сказал я, – если отец завтра принесет тушенку, я тебе отдам баланду. Хочешь?

Счастье – это такая штука... такая штука! Им нужно делиться, и я показывал, что счастья у меня через горло.

И на следующий день счастья у меня было через край. Старшина, с которым я перед тем поругался, сам предложил мне работать на электрокаре – водить мощную машину по всей заводской территории! – проехал со мной от одного цеха до другого и похвалил:

– А ты здорово водишь эту штуку! Хотя, честно говоря, не так уж здорово я ее водил! Старшине я сказал, что мой отец демобилизовался в чине капитана. Он кивнул.

– Ага. Я был вчера в штабе, видел. Седой. Чистый.

И вообще старшина говорил со мной так, будто все время между нами что-то стояло. Что-то особенное, чему не подобрать названия, чего просто так не объяснишь. И хоть по-прежнему он мне говорил «ты», получалось это у него как «вы». И все другие будто чувствовали это особенное и тоже словно говорили мне «вы».

Целый день на участок нашей бригады приходили с других участков, чтобы посмотреть на меня. Некоторые подробно расспрашивали, как там, на Родине, что об этом рассказывает отец, но большинство ограничивалось одним вопросом:

– Это к тебе отец приехал, да?

– Ко мне.

Постоит человек минуту и уйдет.

Вечером мы с отцом встретились перед штабом, ходили по двору, принимали поздравления военных, а часа через два нас арестовали...

Случилось это так. Отец пригласил меня в офицерскую столовую, он сделал это запросто, всегда обедал в офицерских столовых и сегодня ждал меня, чтобы поесть вместе. Я пошел за ним. Часовой у ворот пропустил нас. До офицерской столовой было всего шагов пятьдесят, но это были особые, запретные для меня шаги по неохраняемому пространству. Я знал, что для отца слова «можно», «надо», «нельзя» издавна святы, он и меня всегда учил тому, что это главные слова (поэтому-то он и не рассердился вчера при мне, когда нас выпроводил из комнаты начальник штаба). Но сейчас он чего-то никак не мог понять. Он с самого начала не мог этого понять. Я это видел по тому, как он принимал поздравления, по тому, как он рассказывал начальнику штаба, что пришлось мне пережить в Германии: «Мы отступали, а наши дети...» По тому, что он приехал сюда без погон.

В столовой доброжелательная, хотя и несколько удивленная моим появлением официантка согласилась принести нам кое-что из того, что заказал отец. Мне было зябко в пустом, тихом зале, я старался поменьше разговаривать с отцом – ведь для того, чтобы он услышал, надо почти кричать, – еда не радовала меня, но отец не торопился уходить. Когда мы вернулись к воротам, прогудела сирена отбоя. Часовой приветливо кивнул нам, и мы двинулись к штабу. Было еще совсем светло, солдаты не уходили со двора, и я начал успокаиваться и даже жалеть о том, что в офицерской столовой ел плохо и мало. И тут-то мы с отцом упустили важную минуту – во дворе вспыхнула паника, приближалось начальство. Мы с ним столкнулись посреди двора.

– Кто такие?! – закричал Панов, глядя не на нас, а на сержанта, который, отстав на полшага, сопровождал его.

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Это тот, что к сыну приехал, – ответил сержант. – Начальник штаба им разрешил.

– Что он хочет? – спросил меня взволнованно отец.

– Отец плохо слышит, – сказал я Панову.

– Кто такие?! – будто и не замечая наших ответов, повторил Панов. – Сержант! Посадить до выяснения!

И нас посадили. Помню, как у входа в подвал потрясенный отец отстегивал от гимнастерки медаль, как передавал смущенному сержанту свой ремень, помню, как встретили нас двое отнюдь не подавленных своим заключением солдат. Они попали сюда дня три тому назад за то, что где-то выпили, успели соскучиться и были рады новым соседям. Вначале они не верили в нашу историю, а когда поверили, не очень потряслись ею: подвал – не место для сильных чувств. И вообще им немного смешным и нелепым казался седой глуховатый человек с дрожащим от ярости голосом, дрожащими руками, который никак не мог уразуметь что-то совсем простое, который обязательно хотел узнать, за что на него этот необъяснимый позор.

Отца выпустили часа через три. Тут же в подвале ему вернули ремень и медаль. Сержант подождал, пока он перепояшется, приведет себя в порядок, почтительно пропустил вперед, подмигнул солдатам: «Не скучаете, братцы?» И, хоть сержант ничем этого не показал, я почувствовал, что он стал чуть иронически относиться к отцу, словно этот нелепый арест запачкал и меня и отца.

Некоторое время я ждал, что придут и за мной. Но меня не выпустили. Днем вместе с проштрафившимися солдатами я подметал двор перед штабом, ночью спал на нарах в подвале. Освободили меня дня через три. Сержант пришел утром, потоптался и как-то неопределенно сказал:

– А ты еще здесь? Иди, что ли...

Будто не был уверен, правильно ли поступает.

В бараке меня встретили с сочувствием и в то же время чуть иронически. Я и сам за это время понял, что это почему-то смешно: ехал человек черт знает откуда, разыскивал сына, взбудоражил всех, а его взяли и посадили в каталажку.

Больше отца на завод не пускали. И меня с завода к нему. Начальник штаба, когда я пришел к нему, сказал, что у него нет времени со мной разговаривать. Потом все-таки вернул меня и объяснил:

– Отец хлопочет в Берлине, чтобы тебя отдали ему. Разрешат – езжайте. А на территорию завода посторонним вход воспрещен.

В воскресенье через дырку в заборе я выбрался в город и пошел разыскивать гостиницу отца. Выйдя в город тайком, без пропуска, я совершал тяжкий поступок и потому боялся встречных наших и немцев. Все же мне приходилось обращаться за помощью к прохожим, и они указали мне дом, в котором располагалась гостиница отца. Отца я нашел на втором этаже. Он был обескуражен, растерян, торжественно проклинал майора Панова: «Проклятье этому извергу!» Сказал, что второй день не выходит на улицу – отпускные документы у него просрочены, могут задержать как дезертира. «Мое отцовское проклятье этому негодяю!» Если в самое ближайшее время мое дело в Берлине не будет решено, отец будет вынужден уехать.

– А как же я?

– Но ведь я уже почти дезертир!

– Лучше бы ты не приезжал совсем! – крикнул я.

– Ты не имеешь права так говорить! Не слушая ответа, я выбежал на улицу.

И все-таки меня отпустили с отцом. Оказывается, над Пановым был еще начальник. Это он приказал Панову выпустить отца с гауптвахты (из-за меня он ссориться с Пановым не стал), а потом замолвил за нас словечко в ремонтно-ремонтном управлении, и там было решено позволить мне переехать в лагерь, расположенный примерно в том же районе, где дислоцировалась часть отца. Нам выдали бумагу, в которой

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
говорилось. «Репатриант такой-то в сопровождении отца направляется...» По дороге мы обязаны заехать в Штеттин, где я должен пройти фильтрационную комиссию.

На прощание я встретился с Пановым – ходил в канцелярию подписывать документы. За столом он сидел в фуражке, наверно, собирался уходить. Писарь передал ему мои документы, он надел очки и сразу сделался благообразным пожилым человеком. Бумаги читал медленно, беззвучно шевеля губами, а расписывался быстро, привычно ставя какую-то закорючку. Справку, в которой было сказано, что я «показал себя инициативным рабочим, за что дважды командованием части была объявлена благодарность», вернул писарю.

– Незачем выдавать такие авансы. – И ушел, не взглянув на меня.

Писарь проводил его глазами, вздохнул, поставил на справке «за нач. штаба», расписался и отдал справку мне.

Ярким солнечным осенним полднем я вышел за ворота завода. Там меня уже ждал отец. Первая удивительная минута, когда можно идти направо, налево – куда захочется... И можно было бы закончить эту историю, если бы мы с отцом тут же не поругались. То есть не поругались – отец еще не мог со мной ругаться, он настаивал, чтобы мы с ним пошли поблагодарить того самого начальника, который хлопотал за меня в Берлине, а я наотрез отказывался.

– Но ведь невозможно так уехать, – краснел от негодования отец, – это же!.. – Он разводил руками. – Человек специально ездил, добивался, говорил!

– Не пойду!

– Но объясни хотя бы! Ты обязан объяснить!

А я не мог объяснить. Я твердил свое «не пойду». Я был уверен, что за справедливость, за правду нельзя благодарить, потому что они перестают быть справедливостью и правдой, становятся чем-то другим. Я это чувствовал, но не мог объяснить.

– Но это же упрямство, неблагодарное упрямство! – сказал отец.

– А я у него ничего не просил. И вообще ни у кого ничего не просил, – зло ответил я.

Так я и не пошел к большому начальнику, который хлопотал за меня в Берлине. Отец, собиравшийся «раскрыть по-настоящему глаза на майора Панова», отправился к нему сам. Вернулся расстроенным – начальника не было. И весь путь до вокзала отец шел расстроенным и в поезд садился расстроенным. Со мной он говорил только о самом необходимом...

Не помню, как мы добрались до Штеттина, помню, что приехали вечером и до глубокой ночи разыскивали лагерь. В лагере нам выдали сухой паек, накормили завтраком и после короткого опроса у офицера фильтрационной комиссии отпустили. Через весь город по огромным пустынным кварталам брели мы с отцом к порту, надеясь, что нам удастся морем добраться до Кенигсберга. Чемодан с нашими пожитками самолюбиво тащил я – бывалый, все прошедший человек! Сердце у меня колотилось, я обливался потом, тяжесть в несколько килограммов была для меня непосильной. Отец тревожно поглядывал на меня и наконец отобрал чемодан. В порту нам сказали, что никаких пароходов на Кенигсберг нет и не может быть. И опять мы шли через весь город к вокзалу, не очень еще представляя себе, как ехать по железной дороге, чтобы попасть к отцу в Инстербург. Потом в вагоне с разбитыми окнами ехали в Познань, где-то пересаживались, опять ехали, ночевали в том, что осталось от вокзалов, и ночью на пограничной польской станции сели в товарный эшелон, который шел на Инстербург. На этот эшелон нам показали, когда он, уже тронулся. Мы бежали к нему через рельсы и потому не сумели выбрать вагон – прыгнули на подножку первого попавшегося. Это была большая цистерна с тормозной площадкой. На тормозной площадке одно сиденье для кондуктора. Поезд все набирал и набирал скорость, последние жидкие станционные огоньки исчезли, и вокруг была только темнота. Особая послевоенная темнота, когда в городах и селах уже нет светомаскировки, но еще нет и электричества. Из темноты вырывался холодный ветер, грохот колес гулко отдавался в пустом теле цистерны, и лишь этот темный ветер да грохот колес показывали, что мы едем.

Я стал замерзать. Отец надел шинель, на которой мы с ним уже несколько раз спали, сел поглубже на кондукторское сиденье, расставил ноги так, чтобы и я мог сесть вплотную к нему, и запахнул на мне полы шинели. Шинели не хватало на нас двоих, но все же она грела. Грели меня и руки отца, которыми он поддерживал на моей груди полы шинели. Ветер и колеса били в цистерну, цистерна гудела, а отцу становилось все тяжелее меня держать, но он держал и даже уговаривал: «Ты подреми, подреми – быстрее дорога пройдет». И я бессовестно задремал, навалившись ему на грудь и руки. И сквозь дрему мне мерещилось, что я дома, потому что шинель пахла домашним отцовским запахом. Запахом, который он пронес с собой сквозь всю войну.

2

В декабре сорок пятого года поезд, в котором я ехал, остановился на той самой товарной станции, с которой в октябре сорок второго меня увозили в Германию. Не в силах дожидаться, пока состав еще минут двадцать будет тянуться до главного вокзала, я выскочил из вагона. Чтобы добраться домой, я проехал несколько тысяч километров, пересек несколько границ и просто не в состоянии был оценить длину последнего десятка домашних пеших километров. Нетерпение должно было сделать это последнее неощутимым. Не стал я вмешиваться в толпу, насмерть штурмующую старенький довоенный трамвай. Он долго не мог тронуться, потому что кто-то, цепляясь за веревку, отрывал штангу с роликом от провода. Однако легкий мой чемодан с каждым шагом делался все тяжелее. Я перекладывал его из руки в руку, поднимал на плечо и, как всегда, даже в борьбе с небольшой тяжестью, чувствовал свое слабосилие. Особенно досадна была боль в плече. Она показывала, как костляв я как раз там, где у здорового мужчины должны быть мышцы..

В другое время я по-другому ощутил бы свою болезненность. Я был очень молод, и, несмотря на истощение, жизнь не могла не приливать ко мне. То, что я шел по этому городу, было чудом. Измерить это чудо можно было, только вернувшись на ту же товарную станцию в сорок второй год.

Но чудо измерить нельзя. Другим не выпало – мне выпало. И, хотя то, что происходило со мной, было как в детских снах или в невероятных историях, когда-то прочитанных мной, я все так и ощущал: и то, что это чудо, и то, как мало я его заслужил. И, когда приду домой, это рано или поздно обнаружится.

Среди других переживаний мысль эта вовсе не была незначительной. Мне было восемнадцать, а чудо было так велико, уходило в глубину таких событий и страданий, что, когда я о них начну рассказывать, вопрос, что ли, о моем соответствии этим событиям и страданиям возникнет сам собой.

Борясь с тяжестью чемодана, с непосильной для меня длиной пеших километров, я понимал, что с каждым моим шагом к дому чудо прибывает. И оно же с каждым моим шагом отходит от меня.

Мне не хватало сил на то, чтобы нести чемодан, и потому не хватало сил на радость. Недостающую мне радость я ожидал увидеть в глазах матери и тех, кто встретит меня.

Досадно было то, что я так нерасчетливо выпрыгнул из поезда. Когда он ушел, я увидел, что выпрыгнул один и, значит, все остальные оказались умнее. Нетерпение их было не меньше моего, но они подождут еще двадцать минут и увидят дом на два часа раньше, чем я.

Город сопротивлялся узнаванию. Дома его понизились, расстояния увеличились. Декабрьская морозная пыль была степного, дорожного цвета. Городу не хватало асфальта, снега, этажей. Не хватало трамваев и троллейбусов. Что произошло, я понял, когда вошел в подворотню нашего дома. Три года я носил с собой воспоминания пятнадцатилетнего мальчика. Подворотню сжало временем. Побило и асфальт во дворе нашего дома. А земля на клумбах осела, как на могилах, за которыми не ухаживают.

Сгнили и разрушились скамейки, которые когда-то одновременно служили и оградой клумбам.

Клумбы меня поразили особенно. За эти годы я видел, как роют землю для окопов и бомбоубежищ. Узнал, как липнет к лопате могильная глина. Цвет вышедшей на

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
поверхность глины был мне особенно ненавистен.

До войны клумбы не очень интересовали меня. Но, должно быть, вырослел я, выросли мои воспоминания, и дворовые клумбы занимали в них все больше места.

Клумбы были не просто заброшены. Под осевшей, политой помоями землей было что-то похоронено. И я подумал, что, пожалуй, в доме теперь другие жильцы. Они не знают, что весной клумбы вскапывались, рассаживались цветочной рассадой, что летом их поливали из леек и шланга, что осенью на них жгли листья, а зимой сюда завозили уличный снег.

И на лестничной клетке была какая-то особенная заброшенность. Когда за мной закрылась дверь, я понял, чего еще не хватало городу, – тепла. На лестничной клетке было так же холодно, как и на улице.

Я уже прошел подворотню, двор; дверь парадного закрылась за мной. Я переводил дыхание, специально медлил – кто-то выйдет из квартиры на лестницу... Но никого не было. От голодной пешей усталости, от холода, политых помоями клумб у меня появились тоскливые предчувствия.

На третьем этаже я долго всматривался в нашу дверь. Она закоптилась, но была такой же, как до войны. Звонок не зазвонил – был сломан. Однако меня словно пронзило электричеством, когда я надавил кнопку. Переждав сердечные перебои, я постучал.

Слышно было, как из нашей комнаты в коридор открылась дверь, звякнула цепочка, мамин голос спросил:

– Кто там?

Лампочка освещала ее сбоку, она щурилась, всматриваясь в лестничные сумерки. Должно быть, глаза ее отказались сразу пробежать расстояние в три года. Потом она сказала слабо:

– Сережа?

И я, еще не заходя в комнату, отметил и этот слабый голос, и сухость маминых глаз, и голый, безбажурный электрический свет, и стол под старой клеенкой, и ватин, лезущий сквозь подкладку брошенного на пол отцовского пальто. Этим старым пальто еще в первую военную зиму подтыкали дверные щели – берегли тепло.

По-женски кутаясь в полуистлевшую шаль, за маминой спиной стоял невысокий мужчина. Очки его блестели от заинтересованности. Под шалью был самодельный ватник без рукавов.

– Это Исаак Абрамович, муж Розалии Соломоновны. – сказала мама.

Розалию Соломоновну, нашу соседку, я всегда помнил одинокой пожилой женщиной, и вот, пожалуйста, муж! И я с раздражением отметил и шаль, которую он по-женски придерживал на груди, и самодельный ватник, и лицо, сохранявшее благодушное выражение даже при такой заинтересованности.

В прихожей была та же вешалка с медными крючками. В узкое коридорное пространство выдвигался какой-то ящик или комод. Исаак Абрамович сказал:

– Слава богу! Ваша мама давно вас ждет.

Память моя была обожжена. Но я и вез ее обожженной. А от Исаака Абрамовича, от его самодельного ватника, от шали, скрещенной на груди, от благодушного выражения лица исходило нечто такое, словно он собирался сказать: «С этого момента все, что происходило с тобой, начнет забываться или терять свое значение...» И мне захотелось кричать. Выкричаться...

3

Кричал я, кажется, дня два. Заходил Исаак Абрамович, кивал, но я видел, как исчезал из глаз его интерес. Мать смотрела с опасением. Потом позвала мою двоюродную сестру. Всегда считалось, что Аня может повлиять на меня. Говорила она густым голосом, на верхней губе ясно просматривался юношеский пушок. Я и до

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

войны помнил ее в тесных юбках и кофточках – быстро росла, а одежды никогда не хватало. От густого голоса, от юношеского пушка на верхней губе, от тесных юбок, оттого, что была на четыре года старше, я и впрямь в ее присутствии испытывал замороженность. Удивительнее всего было то, что я тотчас вспомнил эту замороженность и захотел ее преодолеть. Они с матерью долго слушали меня, потом Аня сказала так, будто меня не было в комнате:

– Они все сейчас кричат. Перекричит и будет нормальным пареньком. Постарше Сергея мальчишка вернулся у наших соседей, дня четыре кричал, а сейчас отошло. Они все взбесились у себя на фронте и в плену, а в общем, нормальные ребята.

Она говорила так, будто ее звали на консультацию. Аня заканчивала медицинский. В этом-то и был мамин расчет. Война не война, неудачные родители – одноглазый отец, всю жизнь со своей берданкой проходивший сторожем возле каких-то складов, малограмотная мать, – а человек выучился. И сила в каждом слове слышна потому, что не за обстоятельствами идет, а себе их подчиняет.

– Он водки требовал, – пожаловалась мать.

Аня засмеялась.

Опасение в маминых глазах раздражало меня. Оно было вместо другого чувства, занимало его место. Но силу в Аниных словах я ощущал. Я ей сочувствовал. За три года пушок на ее верхней губе превратился в жесткие усики. Голос огрубел, а в смехе спускался на такие басовые ноты, что я замирал от неудобства, ожидая, что она засмеется вновь.

Это было несчастье. Но я видел, что Ане оно словно добавляет силы. Она не сдерживала своего басового смеха, то ли приучая меня к нему, то ли желая показать, что перед чем-то главным это чепуха. Однако в понимании главного я не продвинулся так далеко.

Может, я и не почувствовал бы в ее словах правоты, не понял бы вообще, что кричу, если бы не Анин грубый голос. Она ушла, а я уже не мог забыть, как смеется моя двоюродная сестра.

Мама почти не изменилась. Не изменилась особенно и наша соседка, Розалия Соломоновна, хотя мама оставалась в городе, а Розалия Соломоновна недавно вернулась из эвакуации. И в комнате пахло будто по-прежнему. И только когда пришла Аня, я с непонятной тревогой почувствовал, что время в эти годы не останавливалось, не обрушивалось в яму, не пропадало – шло без меня.

В Москве я ночевал на полу под окном железнодорожной кассы. В вагоне лежачей оставалась третья, багажная полка. Трое суток я видел перед собой сапоги тех, кто сидел на второй.

В Москву из Кенигсберга отец посадил меня в офицерский вагон. Там у меня была своя полка и соседи-летчики, кормившие тушенкой, поившие спиртом. С одним из них я выскочил на станции что-то купить. Возвращаясь, мы увидели толпу. Она штурмовала подножку нашего вагона.

– Никого не пуцу! – кричала проводница.

Безумие толпы передалось ей. Она всех сталкивала с подножки. И была минута, когда, казалось, поезд уйдет, а мы так и не сумеем пробиться сквозь толпу. И еще была минута, когда поезд уже тронулся, а проводница слепо упиралась руками в грудь летчика, державшегося за поручни одной рукой.

– Голубчик! – ласково сказал ей летчик. – Голубушка!

И проводница, так и не узнав его, все-таки пропустила нас.

В вагоне я услышал, как кто-то за шахматами или просто в разговоре сказал:

– У них есть чему поучиться.

Мне казалось, я угадывал звания по голосам: лейтенант, капитан, полковник. Этот тянул на майора. Кто-то настороженно спросил:

– Чему же?

И тот, не уловив угрозы или самолюбиво пренебрегая ею, ответил:

– Организованности. Порядку. Посмотрите, как много зелени у них в огородах. Или такая мелочь как печка. На редкость экономичны.

Попав в этот вагон, я завидовал сам себе. Людей, которые ехали со мной, чувство собственного достоинства украшало больше, чем ордена и нашивки за ранения. Долгие остановки поезда не были мне в тягость. Не путь удлинялся – праздник. И все это вдруг должно было сломаться.

– Какой же порядок? – спросил голос, в котором я уловил что-то вроде скрипа открываемой кобуры. – О каком порядке говорите?

«Майор» объяснил, но голос был нацелен туда, где слова уже не имеют значения.

И о какой нормальности речь! Мне надо было ночь провести на полу московского вокзала, лечь обязательно головой к кассе, чтобы утром закомпостировать билет. И печки экономичны. Я это точно знал. Но каждым своим словом «майор» совершал непоправимую ошибку.

Я и сам по приливу мгновенной враждебности узнавал человека, в котором сохранилось подобие довоенного благодушия. Бог весть как оно удержалось в нем!

Увидев женскую шаль, скрещенную на груди Исаака Абрамовича, его самодельный ватник, уловив испуг в маминых глазах, я нарочно взвинчивал себя. Нормой стало ненормальное – вот о чем я кричал.

В офицерском вагоне я неистово завидовал судьбам своих соседей, тусклому свету их орденов, кожаному запаху их портупей и понимал, что не скрипом кобуры их можно напугать.

В Инстербурге отец устроил меня на работу в воинскую часть. И надо же! После всего, что со мной случилось, я стал медрегистратором в госпитале немцев военнопленных. То есть это был наш госпиталь, с нашими врачами и сестрами, но в графе «ран-больные» стояли только немецкие фамилии.

Пожилый пленный фольксштурмист по утрам растапливал печь. Выписанных из госпиталя принимал огромный немец по фамилии Шульц. Оглушал их своим голосом, подавлял ростом, фельдфебельской, дубленой на открытом воздухе кожей. Командовал, будто вновь призывал в армию, расписывался в моей сопроводилровке.

В госпитальной мастерской немец портной перешил мне из отцовской шинели короткое пальто.

Госпиталь занимал полный городской квартал. В начале и конце квартала у передвижных заборчиков дежурили наши солдаты – бывшие «ран-больные» этого же госпиталя. Они помнили себя больными, одеты были кое-как и службу несли соответственно. Да и не было у них причин для служебного озлобления. Никто из немцев добровольно госпиталя не покидал. В госпитальных пределах все подчинялось врачебному милосердию: обращение, лечение, еда. Мне рассказывали, когда пришел приказ принять раненых немцев, были крики и заявления с просьбой перевести в другую часть. Но дисциплина, жалость и любопытство постепенно взяли верх. И госпитальные нормы остались теми же: операции, белье, внимание.

А за пределами госпиталя были пустые кварталы оставленного немцами города. Я видел, как вопросительно вытягивались лица тех, кого готовили на выпуск.

Враждебную неопределенность, которая была за пределами госпиталя, ощущали не только немцы, но и я.

Едва обжились в Инстербурге, как отец запряг двуколку, и мы отправились туда, куда, согласно бумаге, он и должен был меня сопровождать.

Он с вечера сказал мне об этом.

– Не хочу! – сказал я.

Он развел руками. Больше мы не сказали ни слова. Я понимал, с бумагой отец тянул сколько мог. Но вот теперь ему действительно предстояло «сопровождать» меня. То, о чем всерьез нельзя было подумать, завтра должно было произойти.

Выводил из конюшни лошадь, запрягал ее в двуколку отец сам. Непривычным, огрубевшим, раздражительным голосом он осаживал или поощрял ее. Эта молодцеватая игра раздражала меня. Детские воспоминания разогревали отца, но я видел, что он отвык от лошадей, «тпрукает» без нужды. А главное, я думал о том, что бумага-то в наших руках и, будь отец другим человеком, мы бы могли ее просто порвать.

И езда в двуколке с отцом не развлекала меня. Цоканье копыт по булыжнику и асфальту отдавалось в пустых домах. Город был покинут в панике перед приходом наших войск. Какие-то здания тронуло снарядами или огнем, много было сожжено, но много и уцелело. В трехэтажном уцелевшем доме мы с отцом жили в одной комнате и спали на одной кровати. В этом же доме и в том же коридоре еще две или три комнаты занимали наши госпитальные работники. Жили по нескольку человек, хотя разместиться, конечно, можно было просторней. Но то ли не приходило в голову, то ли в пустом городе всех тянуло собраться потесней.

И раздобыть еще одну кровать отцу почему-то не приходило в голову.

Как просторно можно разместиться в этом пустом городе, говорили заградительные рогатки, поставленные на проезжей части улицы. На рогатках доски с надписями: «Проезд запрещен».

В городе был комендантский час, и однажды ночью меня задержали на улице. Мы с нашей соседкой, медицинской сестрой, возвращались после двенадцати домой (кто-то принес спирта-сырца, и мы засиделись после дежурства в госпитале) и наткнулись на луч карманного фонаря. В слепящей бесцеремонности его были власть и угроза.

Веселость моя быстро испарилась. Остались только ожоги от спирта в горле. Фонарик продолжал светить жестко, а документов у нас не было.

– Мы из госпиталя, – сказал я.

– Иванов, веди в комендатуру, – приказал тот, у кого был фонарик.

– Ребята, – сказала сестра, – госпиталь же рядом.

– В комендатуре разберемся, – ответили ей.

И мы пошли: сестра, будто развеселившаяся от приключения, и я, напуганный.

По дороге я еще пытался объяснить – проходили мимо дома, в котором жили с отцом. Достаточно было задержаться на минуту и подняться на третий этаж. Но все было напрасно.

– Разберемся! – с какой-то уклончивостью сказали мне.

Уклончивость, с которой произносилось это слово, все больше пугала меня. Разберутся и выяснят, что мне надо быть не здесь, а в другом месте. А главное, не должен был я идти на риск, который лишь веселит мою спутницу. Причина мелка – последствия могут быть огромными. Перед отцом стыдно. Столько сил он затратил, а я не остерегся. Противоречие между моим легкомыслием и тем, что за ним может последовать, мучило меня особенно. Но больше уязвляла веселость спутницы. Вернее, то, что десять минут назад я эту веселость не угадывал, десять минут назад рядом со мной шла уравновешенная женщина, а теперь сорви-голова. С каждым шагом мы с ней разнакамливались. Не на будущее, а на прошлое, за которое мне с каждым шагом становилось стыднее.

Ничего мы с ней в этом прошлом друг другу не были должны. Сидели за столом, переглядывались, потом шли вместе, я рассказывал о своих несчастьях, а она слушала. И, хотя несчастья были подлинные, переполнявшие мою память, я не должен был о них говорить. Я и тогда с беспокоеством улавливал не соответствующий рассказу блеск ее глаз, а теперь понимал, что не бедами своими я ее должен был развлекать, а сделать или сказать нечто такое, что вызвало бы ее нынешнюю

веселость.

Вот ведь идет в комендатуру рядом с патрульными, а веселится! И я почему-то понимаю и правоту этой веселости, и то, что все мои несчастья тут ни при чем.

В комендатуре горела керосиновая лампа. Керосин ли был на исходе или заправлена не тем, но света от нее шло не больше, чем от печного поддувала. В копотном красноватом этом свете потолок был низким, стены ободранными, а пол грязным.

– Привели! – сказал Иванов, но к нам никто не повернулся.

– Пусть ждут! – сказали Иванову.

Нас посадили в дальний угол комнаты. Свет сюда уже почти не доставал, но все равно я видел, каким нетерпеливым блеском светятся глаза сестры. Не от меня она ждала ответа на свою веселость, и я с ней не заговаривал.

Часа через два тот же Иванов потряс меня за плечо. Он вывел меня во двор, дал топор.

– Дров нарубишь, воды нагреешь, баба полы помоеет, и по домам. Не психуй!

И я стал догадываться: и взяли-то нас, чтобы утром было кому в комендатуре мыть полы.

– А баба твоя... Глазами так и стрижет. «Сто мужиков – одна я!»

Он грязно выругался.

Я вызывал у него любопытство, потому что привели меня с женщиной.

Сколько диких, тоскливых, враждебных разговоров о женщинах наслушался я за три лагерных года! Фантастического в них было столько же, сколько и грязного. И фантастическое поражало не меньше. В преувеличениях соревновались, будто речь шла о враждебном племени.

Затевавшие эти разговоры и не заботились о правдоподобии. Зрелые люди, у которых, по их же словам, дома оставались семьи, фантазировали не меньше неопытных юнцов.

Может, людей этих было не так уж много, но уж очень сильна была у них страсть измазаться. А главная мука моя была в словах. К словам у меня не было никакой привычки. О них можно было уколоться, обжечься, порезаться. Каждое имело свой цвет, вкус, запах. Как и все, я был болен изолированностью. Но свое незнание заполнял другими словами.

Швестер Матильда из лагерного лазарета, перевязывавшая мне бумажным бинтом обожженную руку, представить себе не могла, как много я о ней думал. Слушая болезненные разговоры, от которых нигде укрыться, я оскорблялся за женщин, которых хоть раз видел, и за тех, кого не видел никогда. Они мне казались ближе к справедливости уже по одному тому, что о них так несправедливо говорят. Может, это было возрастное, может, лагерное, но в каждой женщине я видел возможную возлюбленную.

Нечестным, однако, было бы скрывать, что в ругани женоненавистников я находил какое-то удовлетворение. Так обнаруживалось, что страх перед мужским одиночеством знаком не только мне.

И ругань Иванова вызвала во мне те же смешанные чувства. Получалось, что у меня были веские причины не отвечать на экзаменующую веселость моей спутницы.

Трудно было понять, сколько Иванову лет. В просторном его одеянии, казалось, не хватает пуговиц или крючков, так все обвисало. На шапке-ушанке отпечатался след звездочки, а самой звездочки не было. Он напоминал нашего «ран-больного», для которого возвращение к строевой службе утратило смысл потому, что война уже закончилась.

– Ей с утра перевязки делать, – сказал я Иванову. – Она медицинская сестра.

– Вот и нагрей получше воды, чтобы руки не застудила, – ответил он. – Воду наносишь вон тем ведром.

И пошел в комендатуру, оставив меня одного во дворе.

После этого случая отец и заторопился...

Вожжи он держал двумя руками, встряхивал ими, как мне казалось, не в такт ходу лошади и время от времени без нужды покрикивал и чмокал губами. С лошадьми отец не имел дела уже лет тридцать и, наверно, невольно опасался, что лошадь его не поймет и сделает что-то не так.

Мне тоже, конечно, приходилось ездить на лошадях. Но ощущение это было куда более запоминающееся, чем езда на машине. Я видел, что лошадь и без отцовских понуканий привычно делает свое дело. И понимал, что на месте отца тоже похлопывал бы ее вожжами по бокам и покрикивал бы, чтобы подбодрить себя.

У меня не проходило ожидание, что лошадь вот-вот остановится и дальше не пойдет. Мы с отцом чужие ей люди, не мы ее кормим и запрягаем. И сбруя, надетая на лошадь отцом, давит ее и стесняет движения.

Но лошадь продолжала бежать. Это была работа всего большого тела. С тяжеловесностью хромого ударяла копытами о дорогу, кивала в такт шагам головой, раздувала бока, роняла на булыжник парующий навоз.

Если бы навстречу попадались лошади, машины или хотя бы прохожие, наша двуколка не была бы так заметна.

Сбылись самые неистовые мечты. Мы вдвоем с отцом ехали по отвоеванному у немцев городу. Ничто не могло оттеснить эту мысль. Давно утратив свою силу, она не могла не являться, когда мы поворачивали из одной пустой улицы в другую.

Сотни километров проехал я по разгромленной Германии. Видел из окна вагона черные лоснящиеся лица американских негров, белые кобуры и пояса эмпи, красную кирпичную пустыню, кирпичное крошево разбомбленных городов. Из Дюссельдорфа в Вупперталь поезд шел сквозь сплошное зияние сгоревших крыш. Когда-то здесь был тесный коридор из стен фабричных зданий.

Мысль, пытающаяся охватить эти гигантские разрушения, завораживала всех, когда, постукивая на стыках, поезд шел километр за километром.

Попадались и чистые домики, уцелевшие городки, железнодорожные строения. Пегие коровы паслись на зеленых лугах. Но не это, естественно, западало в память. Коровы и луга были и в сорок втором году, когда нас осенью гнали в глубь страны. На станциях из дверей товарного вагона мы видели тогда людей в форме. Может, поэтому под осенним дождичком вся Германия лоснилась лакированным сапогом.

Начищенный сапог по-особому смотрится, если вас могут им ударить. Германия тогда наносила удар. С какой же силой он вернулся!

От сгоревших домов, мимо которых бежала лошадь, еще пахло печным дымом. Запахи, в общем, уже испарились. Но моей обожженной памяти не много было нужно.

Я смотрел на отца, потряхивавшего поводьями, и никак не решался задать ему главный вопрос. Лишь когда выехали за город, я не выдержал:

– Ты меня там не оставишь?

Он ответил неопределенно:

– Может, там не так уж плохо. Тут ведь близко. И я всегда рядом.

Я хотел закричать, что он не имеет права на эту слабость, на эту неопределенность, но спросил только:

– Сегодня ты меня не оставишь?

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

И он опять не возмущился, не закричал.

Двор, в который въехала двуколка, напоминал мне о чем-то своей вытоптанностью. Три или четыре слонявшихся без дела человека посмотрели на нас выжидательно.

– К нам? – спросил меня один из них, и я испугался этого быстрого узнавания.

– Да вот с отцом, – сказал я.

– А! – сказали мне с интересом и отступили.

Капитан в накинутой на плечи шинели принимал нас в комнате, в которой был один табурет. Слушал отца и читал нашу бумагу, стоя, потому что отцу некуда было сесть. Капитана знобило, в глазах его была болезнь.

– У тебя только один выход, – сказал он отцу. – Ты сюда не приезжал, я тебя не видел. А привез – ничего не обещаю. У меня пересыльный пункт.

Он посмотрел в окно на лошадь и двуколку. И поторопил:

– Я обязан его забрать.

Когда мы выезжали со двора, я боялся, что лошадь заартачится и не пойдет...

4

Это во мне и кричало! Летчик, который вместе со мной едва не отстал от поезда, уехал бы следующим. Госпитальную сестру все равно выпустили бы из комендатуры. И даже отец, пока комендант ему этого не сказал, не догадывался, что для меня есть только один выход.

Дыхание судьбы слишком тяжело, чтобы ощущать его непрерывно.

В тот город, в котором отец меня нашел, нас везли через Берлин.

На берлинских улицах водители наших грузовиков останавливались, чтобы узнать дорогу, а мы выпрыгивали из кузовов, рассматривали развалины. Все мы переживали чувство невесомости, не знали, куда везут, были заняты своим, но берлинские развалины поражали и наше привычное воображение. Артиллерийские мы отличали от авиационных, узнавали натеки копоти от пожаров. В этом мы стали специалистами. Знали, где много разрушений – мало людей. Гибнут люди или уходят – кирпичное крошево становится пустыней.

День был жаркий, августовский, гимнастерки солдат выбелило солью. Над берлинскими улицами стояло марево, а сквозь память что-то упрямо проступало. Какие-то поблескивающие стекла, мостовые, сиреневый дым между домами.

Может, осенью сорок второго года вот эти улицы промелькнули перед моими глазами. С высокой железнодорожной эстакады, по которой шел поезд, были видны закопченные паровозным или фабричным дымом дома, четкая брусчатка мостовой. И все лоснилось, смоченное мелким, не останавливающим движением дождем.

И в этом сиреновом дыме, мелком дожде, промышленном нагромождении жилых домов и фабричных зданий, в поблескивающих стеклах и плащах было несомненное ужасное единство.

«Берлин», – прочел или догадался кто-то, и это обрубало все.

За стуком эшелонных колес надежда наша давно перестала попевать. Но самое ужасное было в том, что город этот действительно существовал. И ни одного метра железной дороги нельзя было вернуть, чтобы он опять ушел из моей жизни. Не потерей надежды – потерей самой судьбы это было.

В вагоне нас больше сорока. Но и на миллион свою вину не разложишь. А от общей потери только тяжелее.

Сколько сил я потом затратил, чтобы вернуть себе власть над собственной судьбой! Но вот мы опять едем через Берлин, город разрушен, а соединения с собственной судьбой не произошло. И это чувствуют в нас даже самые молодые солдаты в

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
выцветших гимнастерках. Даже те из них, которые попали в Германию уже после войны...

Из городка, где нас застало освобождение, первыми уезжали французы. Они начали готовиться к этому сразу же после того, как немцы были выбиты. На главной улице стояли изуродованные, сожженные, выведенные из строя машины. С ним-то французы и начали возиться. Оказалось, что не вся эта техника безнадежно испорчена. И однажды колонна автомашин тронулась на запад.

Французы где-то раздобыли духовые инструменты, машины украсили цветами, оркестр играл что-то бравурное, а у меня было щемящее чувство упущенной возможности, зависти к простоте, с которой решается и такая проблема. Был даже какой-то страх. Упущенные возможности – это ведь недостаток чего-то. Повторившись, они опять могут оказаться упущенными.

И возвращение домой будто отдалилось, а не приблизилось после отъезда французов. Тогда и явилось ощущение судьбы. Кому выпало уехать, тот уехал. А нам надо ждать.

Потом удивили поляки. Прошел слух, что они едут в Канаду. Мне всегда казалось, что поляки держатся замкнутее нас. Значит, более привязаны друг к другу и к дому. Было непонятно, как они решились и почему в Канаду. Но еще больше потрясло, что после стольких лет такой разлуки они решаются уехать от дома еще дальше. И никаких разъяснений нельзя было получить, потому что не было разъяснений, которые хоть как-то могли нас удовлетворить.

В ходу были такие разговоры:

– Дали бы миллион, остался бы?

– Ни за какие миллионы!

Никто, конечно, не предлагал, но дело было не в ограниченности нашей фантазии. Ничего не могло противостоять тяге домой. Не оставались даже те, кому ехать было до первого нашего пограничника, до первого офицера фильтрационной комиссии. Кого от возвращения домой должен был удерживать инстинкт самосохранения. По больным глазам этих людей было особенно заметно, что это за тяга.

Косоглазому власовцу в первый же день освобождения надели на шею блестящую бляху немецкого жандарма. Пообещали:

– Снимешь – убьем!

Дня два носил он на груди эту железку, а потом сбросил. Вначале его не трогали, потому что он словно сам подставлялся под руку – лез туда, где больше людей. Потом его перестали замечать или отталкивали раздраженно: «Да отойди ты!» Зеленую свою форму он сменил на серые брюки и пиджачок. Ждали, что теперь уйдет из лагеря. Но он не уходил.

И постепенно удивление – не ушел еще! – стало переходить в некое смутное чувство, некое ожидание. Никто ведь не сторожит, не удерживает. Неужели не чувствует, как накапливается на нем обреченность? Или – странно! – сам на нее идет.

Он, конечно, валял дурака. Но от чего это спасает? И вокруг него и еще двух-трех таких же образовывалась пустота. С каждым днем она становилась все устойчивее, все тверже, и все меньше было желающих переступить ее черту.

Они не общались друг с другом, не пытались сбежать и вообще как-то уклониться от судьбы, словно были парализованы ею. И вид бесполезного заискивания перед судьбой, замороженности ею был так тяжел, что никто их и не трогал. Хотя желающих «тронуть» не надо было искать. Они находились сами.

К моему смущению и удивлению, скоро и косоглазого власовца захотелось защитить от тех, кто увязывался за ним, пинал, следил, чтобы не снял шутовской жандармский жетон. В ослепительной вспышке страстей, которую вызвали первые дни свободы, жажда возмездия и природная жестокость на минуту совместились. Но мы хорошо знали друг друга. Ночью в нашем бараке со звоном разлетелось окно. Что-то

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
грохнуло об пол. Кто-то зажег фонарик, и тут же раздался крик:

– У кого есть сигареты?! Сейчас начнем обыск.

На полу валялся топор, его кидали в темноту, и только чудом он никого не задел. Это был подарок блатных.

Жестокость грозила лагерю, а не только власовцу.

Утром узнали, что той же ночью в женский барак нагрянули американские солдаты. Привел их голландец, работавший на горячих вальцах «Вальцверка». Солдаты и голландец были пьяны.

Было почему-то особенно досадно, что наводчиком оказался именно он. Силой и красотой голландца все восхищались. Да и дружелюбным он казался. Память на это дружелюбие и обжигала.

Я и сам дал захватить себя страстям тех дней (говорю «дал», потому что было во мне нечто, сопротивлявшееся им. Но у страстей был ясный язык: «Тебе что, эту власовскую суку жалко?» А у того, что сопротивлялось, как будто и не было слов).

Из окна барака я высовывался с винтовкой и целился в немцев, идущих по мосту, под которым был наш лагерь. Это была мстительная игра. Винтовку заметили, и обращенная к лагерю сторона моста опустела. Игра требовала какого-то продолжения, когда наверху показалась воскресно одетая семья. Немец в зеленой шляпе с пером, немка в светлом пальто и мальчик в белых гетрах. Им крикнули или они сами заметили, но мать и сын шарахнулись в сторону, а немец в шляпе, окаменев от вызова, продолжал идти...

Болельщики были, конечно, и у немца, и у меня. И палец на спусковом крючке одинаково давило внимание и тех и других.

Несчастную свою глупость я в этот момент понимал прекрасно. Видел, что немец выдержит до конца. И не знал, как выйти из игры.

В те сумасшедшие дни все могло случиться. Память на то, как мальчишки в белых гетрах бросали в нас камни, а женщины в светлых пальто не останавливали их, была слишком свежа. К тому же еще шла война, а немец вел семью на прогулку в холмы – на ту сторону моста по воскресеньям ходили гулять.

Три года натягивалась пружина. Была потребность не просто сбросить унижение, а дать знать об этом городку, который окнами домов все эти годы сверху смотрел на нас. И возмущенные крики мальчишки в белых гетрах и немки в светлом пальто действовали на меня совсем не так, как можно было бы предположить.

Не крики спасли меня от выстрела. Я затеял игру блатных, а сам их ненавидел так же, как полицаев.

Когда блатные первыми принялись за власовца, я подумал, что в эти дни и их проняло. Но зло кивало на зло. У них были другие цели и страсти. Власовец оказался только доступнее остальных.

Вот какая мысль омрачила радость тех дней. Зло и не догадывается, что его разгромили на поле боя. Оно тут как тут. И звать не надо, само наготове.

С того момента, как я попал в эшелон, ненависть моя между полициями и блатными делилась поровну. Блатные были лагерной сверхтяжестью. Как кровососущие насекомые, они ни на минуту не давали забыть, где мы находимся. Их не умеряло ни общее горе, ни чья-то болезнь. И дело не в том, что однажды побили. Побои были хуже полицейских. Противоестественней.

Блатная жизнерадостность расцветала на несчастье. И главным в ней было предательство. В сорок втором году его невозможно было не ощутить.

Это было сознающее себя предательство. Веселящееся этим сознанием. Предавались не только родина и ближайшие товарищи, но и главные законы жизни. В этом замахе и было блатное веселье.

Поражения и победы на фронтах никак не меняли их отношения к жизни.

И все утверждалось, доказывалось или подкреплялось невероятной жестокостью. То, что не было подкреплено жестокостью, в глазах блатных как бы не имело цены.

Формировала ли этих людей лагерная жизнь или в лагерь они попадали уже блатными, но они очень быстро находили друг друга. Мгновенное это узнавание было их отличительной чертой. И не писать о них можно было бы только в том случае, если бы они не занимали так много места в той нашей жизни.

Иногда мне казалось, что таких, как Соколик, держат в плену противоестественные мысли. Увы! В лагере я узнал, что мысли эти распространены, что и по ним люди находят друг друга и даже быстрее сколачиваются в компании.

Странные это были компании. Взаимное унижение должно было их взрывать. Но от вспышек жестокости, от неперемного взаимного унижения они только укреплялись. И это подростков и притягивало. Вспыхивала, казалось, не жестокость, а оскорбленная честь. Именно она вслепляла в такой вспышке. Казалось, человек той же мерой предлагает измерять и свои поступки.

Здесь-то и был вызов! И когда я вел винтовку вслед за немцем, надеясь, что он все-таки испугается, я понимал, что палец на спусковом крючке напрягается не только от жажды расквитаться, дать немецкому городку почувствовать унижение, которому нас подвергали три года, но и потому, что в эти радостные и сумасшедшие дни я заразился той самой жестокостью, которую сам же ненавидел. И удержать меня от нее может лишь то, что есть во мне самом.

Но за мной следили. В глазах Костика не было любопытства. Он давно научился вытравлять его из глаз. Костик смотрел так, будто его утомила возня с немцами, идущими по мосту, и он на время доверил винтовку мне. И снисходительно ждет, когда же я выстрелю.

– Сука! – сказал он о немце. – Гитлеровские усы не сбрил! – и усмехнулся презрительно. Отмерил снисходительность, с которой ждет от меня выстрела.

Нарочитое равнодушие Костика раздражало меня. Оружия в руках не держал, не стремился его добыть, глаза только научился делать ледяными, но и это давит на меня.

Колька, по прозвищу Блатыга, высунувшись из окна, кричал немцу:

– Пацырь! Дрюкки порум! Дрюкки шнорум!

Никто из нас не поручится, что на самом деле есть такие слова. Блатыга работал с голландцами и принес словечки в лагерь. Считалось, что это особо оскорбительные голландские ругательства. Произносить их надо, выбрасывая руку вперед. Блатыга и грозит немцу кулаком.

На носу у Кольки темные очки. Он смотрит поверх стекол. Манжет рубашки охвачен ремешком наручных часов, которые Блатыга уже где-то раздобыл. Брюки подвернуты и заправлены в носки. Фикса у Блатыга довоенная. Чтобы она была на виду, он постоянно презрительно кривит губу.

За эту привычку он и получил прозвище. Но только теперь видно, как он его оправдывает.

– Положи его! – кричит он мне. – Чтобы не ходил!

Совсем недавно Колька лишь для смеха откликнулся на свою кличку. И коронка на зубе не казалась фиксой. А теперь запенилась слюной.

Только что он разбил грузовик, на котором в первый день освобождения мы приехали в лагерь. Я услышал крики, увиделдвигающийся рывками «ЗИС», разбегающихся людей. Потом грузовик скрылся за бараком, опять появился на горке и врезался в бетонную стойку лагерных ворот.

Всем было жалко грузовик, но Блатыге дурацкий этот подвиг прибавил сил.

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

Его всегда отличали широкие плечи и жизнерадостность. Да еще уверенность, что удача выпадает удачливым. Нас истошала фабрика, а он на работу и с работы ходил один – был грузчиком у немца, владельца грузовика. Почти все такие машины мобилизовала армия, а хозяину Кольки повезло – его оставили в распоряжении городских властей. Немец в рассказах Блатыги был чем-то похож на самого Блатыгу. Сын к нему приехал с фронта в отпуск на две недели и тоже оказался весельчаком и ругателем. Получалось, весь отпуск потратил на соревнования с Блатыгой в ругательствах и физической силе.

Главный выигрыш Блатыги у судьбы был в том, что работа оставляла ему охоту для соревнований. Энергия эта светилась в Колькиных глазах.

Нас угнетало лагерное и фабричное однообразие, и Колькины поездки с немцем шофером казались роскошью. Но чем веселей и хвастливей были Колькины рассказы, тем больше мы удивлялись, почему хозяин не учит Блатыгу своему ремеслу. Проездить столько времени на машине и не уметь ее водить – это было понятное всем унижение.

– Обещал! – хвастал Колька.

Но теперь было ясно, что хозяин ни разу не сажал Блатыгу за руль. А Колька, уцелев в катастрофе, настроился на что-то большее.

– Дай ему! – кричал он мне.

Щеки его раздулись. Губа над фиксой дрожит, как у волка. Раньше он ее задирает, чтобы напроситься на кличку, которая чем-то льстила ему. Теперь он настоящий Блатыга. Это видно хотя бы по тому, как он меня заводит. Не берет винтовку сам – ищет дурнее себя.

Эти дни всех нас поменяли.

Колькин час пробил, когда полупереодевшиеся, нервничавшие солдаты сгоняли нас к насыпи перед мостом, а лагерный полицейский, который привел их, вызывал:

– Кто понимает по-немецки?

Брюки у Кольки были по-клоунски заправлены в носки. Цепочка свисала из брючного кармана. Темные очки он уже где-то раздобыл. Мы все примерно одинаково понимали по-немецки. Но шагнул вперед Колька.

– Я! – сказал он.

Солдаты, которые видели его в первый раз, и полицейский, который знал его, что-то заподозрили. Но они торопились.

– Две минуты! – истерично стучал по часам полицейский. – Оружие сдать! Через две минуты стреляем! Блатыга поглядел вверх очков.

– У кого оружие, приготовьтесь, – сказал он.

Освещенный солнцем, в дурацких очках, в клоунски заправленных брюках, он паясничал под направленными на него винтовками.

Таким он запомнился не мне одному. За эту фразу об оружии ему и простили разбитый грузовик. Правда, когда все бросились за убежавшими солдатами, Колька остался на месте. Блатному не положено делать то, что делают все.

Когда ночью в наш барак влетел топор, я различил Колькин голос. Блатыга требовал сигарет и грозил обыском...

– Пацыр! – сказал он мне, заметив, что я не решаюсь выстрелить в немца.

5

В сорок первом году, уходя в армию, отец оставил запертым один ящик письменного стола. Стол был с массивными тумбами. В них хранились бухгалтерские справочники, конторские книги, американские журналы с фотографиями счетных машин на толстой глянцевой бумаге. Когда в квартире гас свет, отец на ощупь лез в верхний левый

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

ящик, доставал огарок свечи, отвертку, волосок расплетенного электропровода и направлялся к щиту с пробками. Ящик этот, естественно, интересовал меня, но центральный, запертый просто разжигал любопытство. Иногда мне удавалось заглянуть в него. Отец сам показывал большую готовальню, логарифмическую линейку, коробку из-под канцелярских кнопок с набором перьев «рондо», складной нож в замшевом чехольчике. Ручка ножа была из желтеющей слоновой кости. Почему-то отдельно от всех в этом ящике хранилась старая фотография: любительский оркестр. Пятеро мужчин в косоворотках навыпуск с балалайками в руках. В одном из них улавливалось сходство с отцом. Однако сам я этого сходства не заметил бы.

– Твой родной дядька, – со странной усмешкой сказал мне отец. И, увидев, что я жду объяснений, добавил: – Мой брат. Старший. Во Франции живет.

Странная усмешка и относилась к этому «во Франции».

Но меня поразила даже не Франция, а балалайка. Франция далеко, но балалайка в каком-то смысле может оказаться еще дальше. К тому времени я довольно бегло играл на фортепьяно и даже благополучно переходил из класса в класс музыкальной школы. Но именно из-за ежедневных музыкальных занятий, к которым мать принуждала меня, я рано догадался, что есть нечто, чего никаким прилежанием не достичь. Отца я себе с балалайкой представить не мог. И потому спросил, был ли дядька способным.

Отец удивился. Он ничего об этом не помнил.

– Может, фотографировался за компанию, – сказал он.

Во Францию дядька попал с русским экспедиционным корпусом в империалистическую войну, женился на француженке и не стал возвращаться домой. Теперь я вглядывался внимательнее. Когда против воли везут, и во Францию попасть легко. Но, чтобы жениться на француженке, надо убедить ее, что ты лучше знакомых ей мужчин. А как этого добиться, не зная французского языка? И я вглядывался в фотографию, на которой человек, отдаленно напомилавший отца, сжимал балалайку привычной рукой.

Заметив, что возбудил мое воображение, отец сказал:

– Ты об этом... не очень... распространяйся.

– Почему? – спросил я и сразу вспомнил, что о заграничном родственнике до сих пор ни от отца, ни от матери не слышал.

– По-разному можно истолковать, – сказал отец. – Люди разные.

И опять запер фотографию.

Когда отец ушел в армию, этот ящик и остался закрытым. Ключ от него лежал там, где хранились свечи и слесарный инструмент. Шла война, город бомбили, а я никак не решался нарушить отцовский запрет.

Увы! В ящике, когда я его открыл, в том же порядке лежали готовальня, утратившие для меня интерес перья «рондо» и ножик в чехольчике, лезвие которого оказалось сломанным. Дохнуло на минуту отцовским запахом, но и это рассеялось.

В наш дом попал снаряд, в город вошли немцы. После конторских книг на подтопку уходили американские журналы. Я сам стал от матери запирать в ящик гранаты РГД, запалы от гранат, четырехгранный штык. Но каждый раз, когда я поворачивал ключ, руке что-то передавалось.

Среди того, что вернула память, когда я увидел отца под Берлином, было и смутное чувство вины. Я удивился, когда догадался, в чем дело. После трех каторжных лет мне и в голову не приходило, что я так связан с собой довоенным. Я ведь изо всех сил отбивался от того слабого, презираемого, не знающего жизни мальчишки и только по ночам давал ему волю. Да и какое значение после всего мог иметь тот давний отцовский запрет! Не то что стола – нас самих могло не быть на свете.

Отцовская глуховатость всегда у меня как-то связывалась с тем, что отец знает о жизни. Теперь у меня не было сомнений, что я знаю больше. Но, словно давний

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
запрет не утратил силы, наши отношения складывались так же, как и до войны.

Не мог я, например, рассказать ему о том, как целился в немца, как в ночь перед тем с Костиком, белорусом Саней и Василием Дундуком воровали кроликов.

Клетки с кроликами я давно заметил метрах в пятистах от лагеря на пустыре рядом с сараями. Риска не было никакого, но я взял с собой пистолет и все время держал его на взводе, пока Василь и Саня ломали клетки, а Костик подавал советы им и мне.

Свой парабеллум с легкостью, к которой я так и не мог привыкнуть, дал мне Ванюша.

– Приятелей своих позови, – сказал он, когда я предложил ему сходить вместе. – Костика, Саню... как его... Дундука. Сами ходите.

Это было как раз то, что мне хотелось самому.

– Тогда дай свой пистолет, – сказал я.

Когда ждешь заведомо отказа, просить нельзя. Но я не удержался. Я ждал, Ванюша скажет: «Ни к чему это». Или: «У тебя свой есть». Или что-то в том же роде. Но он встал из-за стола, сунул руку под матрац, протянул:

– Возьми.

Пронзительная эта легкость всегда была для меня каким-то упреком. Она казалась болезнью, роднящей Ванюшу с Москвичом. Тот тоже, не глядя, через плечо отдавал окурки, сигареты каждому, кто попросит. И Ванюша не знал затруднений, естественных для других. Была тут для меня какая-то обида. Я с таким напряжением решался попросить, а он так легко отдавал, что напряжение выпадало в душевный осадок. Не давала мне покоя одинаковая непривязанность к своим вещам этих двух разных людей.

Москвича, казалось, она унижала. Когда ему везло, он на всякий случай заискивал перед всеми и перед судьбой. Так думал я и понимал, что это не вся правда. К Ванюше же она не имела никакого отношения. Москвич чаще протягивал руку, чтобы попросить, чем для того, чтобы дать. Ванюшу просящим я не видел никогда.

Его даже дележка хлеба не возбуждала.

– Живот меньше, чем у других, – объяснял Ванюша это своим ранением. И если кто-то, завидуя или шутя, говорил, что ему выпал большой кусок, Ванюша тотчас предлагал: – Меняемся!

Вначале это казалось блатным высокомерием (и что-то, наверно, тут было). Потом вызывало ревность. В лагере были специалисты просить. Их узнавали по вкрадчивости, по липучести, по тому, как тянули руку ко рту закурившего или получившего окурков, по нечувствительности к упрекам. Покури в одной компании, они тотчас переходили к другой.

– Убери руку! – говорили им.

Они продолжали тянуть или многозначительно продували пустой мундштук, пока раздраженный человек не отдавал окурка.

На них очередь курящих всегда обрывалась. За ними не занимали – брезговали.

Может, их сжигала какая-то болезнь. Такой голод всегда был в их глазах и так жадно втягивались их щеки, когда они дорывались до окурка.

Об одном из них говорили, что он дым пускает глазами. И правда, когда курил, голубые, навывкате глаза его задымливались.

Ванюша не отказывал и таким.

– Откуда ты знаешь, – говорил Ванюша, когда я его убеждал, что он делится с недостойным, – может, я хуже их.

– Брось ты! – возмущался я, а Ванюша смотрел на меня своим невыносимо пристальным взглядом и добавлял:

– Или ты.

Я старался вспомнить, чем перед ним провинился, пугался и умолкал. И потом никогда не мог разобраться, шутил Ванюша или говорил серьезно. Я даже специально присматривался к попрошайкам. Но отвращение к мужчине с задымляющимися глазами, к его развинченной походке, безотчетный страх перед самим его приближением, перед пустотой его глаз мешали мне хоть как-то понять Ванюшу. В голубых, навывкате глазах жизнь вспыхивала только в тот момент, когда попрошайка догадывался, какое отвращение внушает. Человек, казалось, торжествовал. Тянул руку к чужому рту, и окурки ему отдавали, как отмахивались. Но он не уходил. Вставлял окурки в мундштук и, неприлично всасывая щеки, затягивался.

Эти люди обладали пронизательностью на слабость и доброту. Настойчивость их не ослабевала, пока можно было что-то выпросить. Я ревновал, считая, что Ванюша жертвует моими интересами.

– Ты на минуту задумайся, а потом отдавай, – говорил я ему.

Ванюша смеялся.

– Подумаю – не дам. Я жадный. Лучше не думать.

За три года я прочно усвоил, что всем оставляют докурить, добытым сверх пайки делятся с друзьями, попрошаек гонят, а высокомерие вроде Ванюшиного «Меняемся!» позволяют себе по праздникам.

Костику, Дундуку, мне или другим малолеткам такие праздники почти не выпадали. Мы были недобытчиками. Костик к тому же не курил, но никогда не упускал случая сказать попрошайке: «С длинной рукой под церковь!» Мне тоже этими же словами хотелось отшить того, с задымляющимися глазами. Но было в этих словах такое, обо что самому можно обжечься. Будто на себя же накликал. Словно открывался предел, за который я из страха не давал себе заглядывать, за который мне чудом удавалось не переходить.

Но я так часто и так близко к нему подходил, что давно догадался: за тем пределом главный источник душевных бед и доблестей. Споря с Ванюшей, я завидовал ему. Я бы завидовал и Москвичу, если бы он был другим человеком.

Однако пистолет не был обыкновенной вещью. Его нельзя отдать, не передав с ним слишком многого. Мне нужны были остерегающие или ограничивающие слова. Я это почувствовал, потому что они не были сказаны.

Я, конечно, хотел похвастать Ванюшиным доверием перед Костиком, Саней и Дундуком.

За день перед тем Колька Блатыга и его дружки избили Ивана Шахтера.

Это был длинный унылый человек лет тридцати. Прозвище он получил за темное, в пороховых крапинках лицо, за вечно грязную шею. Лежа на матрасе у себя на втором этаже, он незлобно отбивался от тех, кто упрекал его в нечистоплотности.

– Не смывается. Уголь! Я же в шахте работал.

– А умываться пробовал? – оттачивал кто-нибудь на нем свое остроумие.

– Так что пробовать? – лениво отзывался Иван. – Это же антрацит.

– А с койки чего не встаешь?

– А на что силы тратить?

Ему на койку приносили докурить, сюда же приходили, чтобы взять «бычок».

И в выражении его лица и в фигуре была та же унылость, которую острякам не

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
терпелось растревожить. Однако, если очень донимали, унылость его исчезала и становилось видно, что это крепкий и нетрусливый человек. Не я один позавидовал, когда в первый день освобождения увидел в его руках большой офицерский «вальтер». Иван принес его после того, как бегал догонять немецких солдат, врывающихся в лагерь. Днем Иван охотно показывал свой пистолет, а на ночь спрятал его не в бараке, а под крышей лагерной уборной. У всех остались опасения, что ночью кто-то придет и обыщет.

За этим «вальтером» блатные к нему и пришли. Ивана вызвали из барака. Блатыга ему сказал:

– Покажи ватаргу!

Иван не понял. Он не знал, что это воровское слово означает пистолет.

Блатыга закатил истерику:

– Пропала ватарга, а он неграмотного корчит!

Тщеславное желание этих ребят считать себя шпаной Иван знал давно, но удивления преодолеть не мог. Он удивлялся темным Блатыгиным очкам, брюкам, заправленным в носки, клоунским манерам его дружков. Все-таки это были старые знакомые, и Шахтер попытался объяснить. На него закричали:

– Кончай темнить!

Тогда он повел их к тайнику, достал «вальтер», показал Блатыге. Тот закричал:

– Мой!

На Ивана бросились разом. Никто Блатыге не поверил, но выворотная жестокость не могла не ошеломить. Нормальному человеку трудно представить, что бьют потому, что дорвались.

– Это не все! – сказали Шахтеру. – Мы тебя умоем!

Витек (все они звали друг друга уменьшительными именами), за блеклость волос и ресниц прозванный Сметаной, пригрозил нам:

– Берегитесь, падлы! У меня тоже такая машина пропала. Лучше сами отдайте!

Мне бы выпалить в его блеклые глаза – в кармане у меня лежал револьвер-гирька. Но ведь и Шахтер только что держал в руках пистолет, из которого мог перестрелять всю эту сволочь. Не было у меня доказательств, что Блатыга врет, но ведь и сомнений не было. Колька брал на воровскую наглость: «Ты видел?!» Все знают, что хуже всех будет тому, кто вмешивается, когда не трогают его самого. Да не в этом дело! Разве можно выстрелить в своего на том же самом месте, где всего несколько дней назад немецкие солдаты едва не перебили нас всех! Ведь это Блатыга вышел тогда вперед. К тому же он мой приятель. Он и сейчас не отказывается. Вертя в руках отнятый у Шахтера «вальтер», светит мне фиксой. Ему и в голову не приходит, что сердце мое отбивает: «Выстрелить – не выстрелить!» И каждый удар выпадает в душевный осадок. Мы ведь останавливаемся там, где блатные не оглядываются.

Пистолет Блатыга не просто крутит в руке. Как бы ненароком направляет на кого-то из нас.

– Шахтер, – говорит Блатыга Ивану, – тебе же он все равно не нужен.

Блатыга доволен и готов что-то смягчить, но дружки распалены его удачей.

– Опустит руку! – говорю я, когда Сметана опять замахивается на Шахтера.

Сметана поворачивается ко мне, но Блатыга останавливает его:

– Хватит!

Блатыге надо закончить с Шахтером и указать Сметане его место. Он учитывает, что

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

я дружу с Ванюшей, хожу к военнопленным, которые еще неизвестно как на все посмотрят. К тому же он навешивает на меня должок. Такие уступки блатные ценят дорого.

Главная блатная добродетель – жестокость. Оправдывая свою кличку, Блатыга пожалеть Шахтера не может. Он может «уступить» его мне или Сметане. Тут все навыворот. Меня Колька уже не вправе «уважать». Однако сейчас ему так выгодно повернуть.

Нормальному человеку кажется, что жестокость не просуществует. Что совесть и ум не потерпят ее рядом с собой. Но главный обруч, скрепляющий блатных, названная жестокость. Не в один день я это узнал. О «блатных» законах слышал и раньше. Но думал, что это уличная болтовня. Преступления совершаются из жадности и из злобы. Опасных размеров злоба или жадность – такое же уродство, как горб. У кого-то он есть. И ничего с этим не поделаться. Но у других-то нет! Однако у Костика, когда он прибивался к блатным, уродства я не замечал. У Блатыги тоже. Их тянули «блатные» законы, «права».

Как это могло быть, я не понимал. Я чувствовал злобность Соколика, которую тот сам сдерживал, злобность Сметаны. Но ни Костик, ни Блатыга злобными не были. Они учились злобности. Зачем это слабому Костику, еще можно догадаться. Но зачем злобному смешливому здоровяку Блатыге?

Не в первый раз блатные обижали людей, не в первый раз я об этом думал. Но случай сейчас был особый. Лагерные репутации создаются не в один день. Они никуда не записываются, но не становятся от этого менее прочными. Иван Шахтер, несомненно, был уважаемым. Не сразу и разными путями попадают в это число. Но и выпадают из него редко. Некоторые странности Ивана делали его еще и симпатичным. А это много значит. Иван позволял смеяться над собой. Однако пределы смеха определял сам.

Как сказали бы теперь, он был составной частью лагерного фольклора. Он был из тех, кто делал нашу жизнь немного веселее. Блатыга, Сметана и их дружки знали это прекрасно. Им ведь тоже от этой веселости перепадало. Возможности и пределы своей репутации человек в лагере ощущает довольно точно. И другие тоже ощущают эти возможности. На такого человека, как Шахтер, блатные еще не замахивались.

Тут было еще одно. Блатыга, Сметана могли искать оружие, там где его взял Иван, но предпочли отнять у своих.

Их лихости и мстительности, казалось, сейчас было где развернуться. Может, впервые людям этого типа история дала несколько дней для проверки легенд, которые они сами о себе создают. Выпал случай показать, что за душой у них есть хотя бы примитивное деление на своих и чужих, а не только похотливая жадность и злоба. Когда они в первый день свободы принялись за косоглазого власовца, я подумал, что на очереди комендант и полицаи. Но ни Блатыга, ни Сметана не спешили выходить за лагерные ворота, хотя теперь они были открыты.

Грузовик, который Блатыга разбил, не он пригнал в лагерь. Нашему бараку блатные грозили ночным обыском. Теперь вооружались против своих.

Шахтера били с яростью. Взрыв жестокости ослепляет жертву и возможных сочувствующих и помогает справиться с противоестественностью, которую не может спрятать от себя сам насильник.

Блатные и не закрывают глаза на эту противоестественность. Скажите Блатыге: «Ты ворует!» – он в заслугу себе поставит последовательность: «Все воруют». Но другие таятся, а он открыто на этом стоит. Поэтому все – «дешевки», а он – человек. У этой последовательности ошеломляющая сила. На этой смазке такие, как Блатыга, могут ехать долгие годы. Она им дает веселость и окончательное понимание жизни.

На второй после освобождения день к нам в лагерь спустились два француза военнопленных. В лагере было пусто – все ушли в город. На койке, вытасенной из барака, сидели Блатыга и Сметана. Должно быть, Блатыгины очки, брюки, заправленные в носки, показали французам странными. Смутило их, наверно, и привычное для Блатыги и Сметаны угрожающее выражение лиц. Угрозу в эти дни все научились быстро улавливать, даже не доискиваясь ее причин. Никого, однако,

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
больше во дворе не было, и французы спросили, где найти старшего.

– Я старший! – сказал Блатыга.

Значительность он тоже понимал как угрозу, и потому лицо его стало еще более угрожающим. К тому же торопился опередить Сметану.

Подозревая подвох, французы объяснили, что они делегаты. В городе создается антифашистский комитет. От нашего лагеря ждут представителей.

Блатыга презрительно молчал. Сметана спросил:

– Что там делать?

Смысл вопроса был понятен, и французы объяснили: выявлять фашистов. Ответа не дождались. Блатыга презрительно отвернулся, и французы, еще помешкав и недоуменно пожимая плечами, ушли.

Сметана сплюнул.

– Представители!

Кому это непонятно, просто не знает, какие блатные казуисты и как жестоко блюдут свою «чистоту». Враждебность – их главный ответ на мысли и чувства «дешевок». А французы для Блатыги и Сметаны, несомненно, были «дешевками».

6

Вот какая мысль приходила в голову, когда в августе сорок пятого нас везли через Берлин.

Не упорство межэтажных перекрытий, не крепость каменных связей сдерживали здесь наших солдат. Не только о силе удара говорили развалины – об упорстве сопротивления. Дух, который заставлял немцев жечь чужие страны, сжег все и в их собственной стране. Где он теперь? Погребен под страшными развалинами, принял их как последнее доказательство или живет в том немце, который охотно объясняет нашему водителю, как проехать дальше?

Как этот дух связан с убогим миром «блатных» антимыслей и античувств, я не знаю. Но связь несомненна. Ощущение это, увы, явилось в самые радостные дни свободы. Сметану и Блатыгу, конечно, отталкивали сами слова «представитель», «комитет». Но, главное, ни к бывшим полицаям, ни к американцам, изнасиловавшим наших девушек, ни к голландцу-переводчику у них не могло быть претензий.

Однако не в Блатыге дело. Взяв Ванюшин пистолет, я повел Костика, Саню и Дундука за кроликами.

Клетки стояли рядом с ближайшим жилым домом. От лагеря надо было пройти шагов двести. Издали крольчатники выглядели ветхими, но оказалось, что сделаны они и заперты надежно. Я с пистолетом смотрел за входом в дом, Саня и Дундук пытались бесшумно взломать дверцы, а Костик давал советы им и мне.

Пистолет нехорошо его волновал. Костик говорил Сане и Дундуку:

– Что шепчетесь? Шепотом все равно не откроете. Стукни, чтобы сразу развалился!

– Сам стукни! – рассердился Дундук. Он поцарапал о проволочную сетку палец и отсасывал из ранки кровь.

В крольчатнике было темно и тихо. За дверцей никто не подавал признаков жизни. Спичек или фонарика не было. И стало казаться, что там никого нет. Когда, просунув руку под оторванную проволоку, Саня вытащил какой-то комок, я даже вздрогнул.

– Держи! – протянул он кролика мне и опять полез рукой. – Еще один. Наверно, крольчиха.

Я ожидал сопротивления, но кролик не шевелился.

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– За уши! – сказал мне Саня.

Живое тепло быстро прогрело руку и грудь. Чтобы избавиться от этого ощущения, я взял кролика за уши и отстранил от себя.

– Еще ломать? – спросил Саня.

– Нашумели! – сказал я.

Костик усмехнулся в темноте.

– Четверо ходили, двух кроликов принесли. Он был прав. Перед освобождением в лагере больше месяца почти совсем не было еды. Двух кроликов мало.

– Ночь длинная, – угрюмо сказал Василь Дундук, – дорогу покажем. Пусть сами ломают.

Переживания все-таки утомили нас, и мы двинулись в лагерь.

– Засмеют, – сказал Костик.

Все с подозрением оглянулись на него. Когда вокруг нас в бараке соберутся люди, Костик возмущенно всплеснет руками и скажет: «Я ж говорил! Уважающий себя человек за двумя кроликами не пойдет!» И это прозвучит у него, как у блатного.

– Сам бы и ломал, – сказал Василь.

– А ты, Дундук, тут зачем?

Василь засопел. Этот слабый Костик раздражал его больше, чем других.

Однако в бараке было мало людей. Почти все перешли ночевать на улицу. Только Иван Шахтер, свесившись со своих нар, посмотрел на нас.

– Варить? Или жарить?

– Тебе, Шахтер, все равно не перепадет, – сказал Костик.

Живое тепло и от ушей проникало в руку. Шахтер сказал:

– Мой сосед-крольчатник двумя пальцами их убивал. Возьмет за уши и двумя пальцами по носу.

Все по очереди попробовали. Была надежда, что жизнь в этих зверьках непрочна.

К утру, однако, кролики были сварены, съедены, остатки, чтобы скрыть следы, закопаны, а мы расхвстались по лагерю, как ходили, ломали клетки, как щелкали кроликов, а они только жмурились, как Костик сказал Шахтеру:

– Чтобы тебя Блатыга двумя пальцами по носу щелкнул!

Пока возились с кроликами, я заметил, что в окно проникает солнце. Это меня удивило, потому что до этого я как будто бы и самого барачного окна не замечал.

Окно открыли, я высунулся наружу, увидел над собой мост и немцев, идущих по мосту. Тогда я взял винтовку и прицелился. И все было не очень страшно, пока не появился Блатыга.

Он сразу захотел получить свой должок. Жизнь Блатыги была теперь в непрерывном отвоевывании престижа. Он не просто хотел иметь пистолет – не мог допустить, чтобы «вальтер» был у Шахтера. И в той игре, которую я затеял, ему сразу надо было стать главным. Чтобы и все слышали, как он командует:

– Давай! Уйдет!

Как будто и не было совсем недавно удачливого и смешливого Кольки со здоровьем в широких плечах, с азартным блеском глаз, которого лишь в шутку звали Блатыгой и который так весело орал: «Эх, тумба, тумба, Исаакиевский собор!»

Задолжал я ему жестокость. Каждому, кто хоть как-то знает блатных, это понятно. Нет смелости – покажи жестокость. Нет ума – найди силы на нее же. Хочешь быть не слабее других, не умом сравнивайся с ними, не добротой – жестокостью.

Я тоже бил кролика двумя пальцами по носу. Надеялся, что жизнь оставит зверька легко. Но жизнь была прочна. И теперь меня мутило. И, когда с пистолетом охранял Саню и Василя, ломавших клетки, не знал, как поступлю, если появится хозяин. Три года не сомневался, на третий день свободы заколебался.

Винтовку я взял, чтобы поугадать собственную слабость. Пришла минута расквитаться, которую так долго ждали, перед которой клялся страданиями миллионов людей. И немец, в которого я целился, несомненно, был фашистом. Ни в повадке, ни в партийных усах не мог я ошибиться. И возмущенные крики его жены и сына только возбуждали мою память.

– Пацыр! – сказал мне Блатыга, когда немец прошел мост. – Не можешь – не берись.

История эта не забылась. Но я ее никому не рассказывал. Что ж рассказывать, если выстрела не было! Отцу, однако, не мог рассказать совсем по другим причинам. Хотел было, но почувствовал, что это почему-то невозможно.

Я не догадывался, какая сила в этой самой невозможности.

7

Через много лет история эта вдруг обессилит меня воспоминанием. И облегчение будет как при нечаянном избавлении. Уже было оступился, но вдруг услышал в темноте то, что и услышать нельзя – дыхание глубины.

Тогда, однако, главным ощущением была досада на слабость. Мог ее не показать, но ведь сам затеял непосильную игру. И должок Блатыге увеличился. Долг блатным всегда растет, а не остается тем же самым. И Костику позволил презрительно хмыкнуть.

Но самое досадное – обнаружил, что слишком слаб для возмездия. Оказалось, оно требует сил, которых у меня нет. Это было открытием. Три года ненавистью клялись. Возмездие казалось не только желанным, облегчающим – обязательным. Без него не вернуть власть над собственной судьбой. Да что там! Дышать будет нельзя...

И вот не могу выстрелить.

К тому же я «выставился». На глазах у всех схватился, да не удержал – рукам горячо! Другие не суетились, не лезли и теперь могут смеяться надо мной. Но еще хуже – сам же углубил пропасть между собой и собственной судьбой. Все обернулось стыдом. А стыд обостряет жажду возмездия.

В сорок втором году по дороге в Германию в Познани была дезинфекция и проверка на венерические заболевания.

Это было первое массовое унижение, которому нас подвергли.

Через коридор, в котором мы раздевались, гнали голых женщин. Смуцавшихся, приостанавливавшихся полицейские хлопали ниже спины. В пару и дыму нас били резиновыми палками солдаты-дезинфекторы. С резиновой палкой к нам выбежал молодой, с офицерской выправкой врач. В кабинет к нему загоняли по десять человек.

Лицом к нам у окна стояла немка, даже в тот момент показавшаяся мне ослепительно красивой. На ней не было халата. По небрежной позе, в которой она оперлась о подоконник, было понятно, что к медицине она не имеет отношения.

Врач строил нас шеренгой. Под халатом у него был мундир, в руках что-то вроде длинного деревянного пинцета, которым из выварки достают кипящее белье. По-русски он не говорил.

Он показывал нас немке, а она пришла на нас смотреть.

– У этих уже были женщины, а у этого еще нет, – сказал он, когда подошла моя

очередь.

Он сказал по-немецки гораздо грубее. Некоторые поняли, повернулись ко мне и засмеялись.

В дорогом костюме немки, в ее шелковых чулках, в позе была невыносимая, возмутительная в этом месте праздность. Ее женская привлекательность была еще ужаснее белого халата на военном мундире врача. Разглядывая нашу шеренгу, слушая солдатские шуточки, она, должно быть, чувствовала, как наше внимание, прикованное к врачу, переходит на нее. И во взгляде, который она старалась сделать ледяным, отражалось это понимание.

Нас сталкивали в бездну. Но больше всего в этот момент меня мучил стыд. Ранил и смех напарников. Униженные, они будто напрашивались на невозможный для них мгновенный союз с немкой и врачом. Преимущество, которое, стоя босиком на мокром полу, они праздновали, быть может, невольным смехом, обнаружилось, когда с нас всех содрали одежду.

– Лос! – погнал нас врач дальше.

И все потонуло бы во множестве таких же мучительных эпизодов, которые уже были со мной и которые еще только предстояли, если бы не эта немка и не этот стыд. Он, несомненно, был связан со всей жизнью. И действовал даже в опасных для нее обстоятельствах. Его можно было пережить. Но, кажется, не было испытаний, на которые я не пошел бы, чтобы избежать этого унижения.

Хотя, с какой стороны ни посмотри, стыдиться было нечего. Пятнадцатилетний, я стоял со взрослыми. И смеялись они не зло. К тому же был и такой способ справиться с обстоятельствами – считать их невероятную жестокость нормальной. Были люди, голос которых грубел на глазах. «А ты что думал!» – словно ликовали они. Оживление их не гасло, даже когда им самим попадало дубинкой. «Что мы за цацы! Если не нас, так кого же бить!» Словно торжествовали какую-то давнюю догадку о жизни. Их бескорыстное холуйство было мне странно и ненавистно. Будто в исступлении они на время теряли слух, зрение и чувствительность кожи. Но ликовали недолго. Немцы учили быстро.

Вообще-то было не до этих людей. Но хватало и бокового зрения, чтобы увидеть и запомнить их непонятный восторг. Должно быть, давно у этих людей возникла тяга к всеразрешающему порядку. Жестокость и казалась кратчайшим путем к нему. А воля к жестокости – волей к порядку.

Они хотели добра и с некоторым риском для себя выступали вперед, когда обстоятельства накалялись.

– Тише! – кричали они, когда врач выбежал к нам с дубинкой.

Они сочувствовали врачу, а не тем, кто с шумом вырывался из бани. И, если доставалось им самим, они считали себя жертвой тех, кто шумел, а не тех, кто бил.

Убеждения их только крепили от этих ударов. Бескорыстие давало право говорить громче. Они искренне страдали от нашей неорганизованности и первыми смеялись шуткам полицейских и переводчиков – обеспечивали сочувствие проводникам порядка.

В эти минуты я ненавидел этих людей так же, как полицейских переводчиков. Вблизи этих людей мысль моя делалась беспомощной. Я не мог понять, как они думают.

Однако в Германию они приезжали уже ошеломленными. С пониманием, что в этом порядке им воли не дадут. В лагере быстро скисали. Лишь немногие пытались принять «блатную» веру. Тем, кто бил, бескорыстная любовь к порядку была не нужна.

Полицаев я, конечно, ненавидел больше. Но чувство справедливости сильнее обжигалось этими любителями жестокости и порядка. От их готовности осмеять всякую доброту страдало мое представление о мире. В расчетах они чаще всего были порядочны. Сами редко становились насильниками. Но всегда были готовы сочувствием поддержать насильника и осмеять жертву: «Умнее будешь!» И, если кто-то при них хорошо говорил о женщинах, они тотчас перебивали: «Да брось ты!»

Таким был попрошайка с задымляющимися глазами. И я, дождавшись, когда он протянет руку за окурком, говорил с мстительным торжеством:

– С длинной рукой под церковь!

Моя тяга к Ванюше, может, и была попыткой с помощью лихости застраховаться от этих людей, очиститься от них, желанием заработать понятное им право говорить: «С длинной рукой под церковь!»

Конечно, я не знал женщин. Но мысли свои о них я знал. Они появились гораздо раньше, чем меня голым выставили на дезинфекции в Познани. И стыд был невыносим потому, что одежду содрали как бы не с меня, а с моих мыслей. На них был детский запрет, подростковая невозможность. Но и этот запрет, и невозможность, и волнение крови были одинаковой силы и справиться друг с другом не могли. Здесь-то и было мучение. Жар его в любое время мог стать болезнью. Его уже нельзя было отделить от всего, о чем думал и что делал, а жить надо было так, будто его нет совсем.

Разлука с домом стократно все усилила. Чем больше отчаяние, тем сильнее нужна надежда. Когда ее вытесняют из того, что видишь каждый день, она захватывает мечты и сны, которые не ей предназначены. К своим мыслям о женщинах я никого не допускал. Но и себе с каждым днем затруднял туда дорогу.

Уже не детские, а лагерные запреты были между нами и нашими девушками. А если я смотрел на швестер Матильду, то тут же вспоминал, что за связь с немкой иностранцу и самой немке полагается петля.

Стерильность швестер и наша каторжная загнанность делали эту угрозу излишней. Но такие запреты учитывает и самая отчаянная мечта. Она считается с голодом, с собственной ослабленностью, с одеждой, в которой работаешь, а случается, и спишь. Учитывает, что той, разлука с которой накапливается, не за что, в общем-то, тебя полюбить. А значит, негде взять силы, чтобы преодолеть все невозможности и запреты.

Вообще-то отсюда мечта и начинается: «Эх, тумба, тумба, тумба...» И тех, кто говорил: «Да, брось ты!» – я ненавидел потому, что они покушались на мою мечту.

Ничего не зная о любви, я не то чтобы догадывался – допускал, что она находит силу не только в достоинствах любимого человека. Иначе слишком многим людям не на что было бы рассчитывать. Но ведь женатым был даже презираемый всеми бургомистр Борис Васильевич. Жены были у фюарбайтера Пауля, Гусятника, верующего старика. А когда фашистов прогнали и отпали лагерные запреты, первым в женский барак проник попрошайка с задымляющимися глазами. И поразило не то, что он оказался проворнее других, – избранницей его стала самая красивая девушка в лагере.

Конечно, попрошайка отъелся, спина его разогнулась, щеки надулись, в глазах появился фарфоровый блеск. Но с целой сигаретой в новом мундштуке, с манерами уважаемого человека он стал еще противнее.

Я помнил, как бросилась жена к лагерному коменданту, когда американцы взломали дверь и выпустили его из штабы № 9. Ей не было никакого дела до нас и до справедливости, с которой он обращался точно так же, как с нами.

Когда машина эмпи выезжала из лагеря, мы видели, как дочь и жена прижались к лагерфюреру с обеих сторон. Они собой защищали его от опасности, которая еще могла грозить ему на лагерном дворе.

У несправедливости были и более мелкие приметы. Например, красивые лица Ивана-старшины и поварихи Галины – одной из тех девушек, которые привели американцев, освободивших лагерфюрера.

Я любовался обнаженными по локоть руками Галины, которыми она хватала наши миски, а она из своего раздаточного окна смотрела поверх наших голов и никогда не возвращала наполненные миски в руки, а толкала их по оцинкованному прилавку так, чтобы и ты уходил в том же направлении и освобождал место следующему. И в лице ее, и в руках всегда была неприступность сытости и чистоплотности.

В детстве отец непрерывно проверял чистоту моих рук. Но мне в голову не могло прийти, что у чистоплотности может вдруг оказаться какой-то страшный смысл. Здоровые, чистые – по одну сторону, загнанные, каторжные – по другую.

Как только эмпи уехали, кто-то дознался:

– Поварихи привели!

Все бросились в женский барак.

– Остричь!

Галину и ее напарницу не нашли. Они отсиживались на квартире лагерфюрера.

– Ну, суки! – ругался Блатыга.

А я ужаснулся: откуда взяли на это силы? Что чувствуют в доме, куда десять дней назад их ни за что не пустили бы? Так хотели туда попасть или так не любили нас? Неужели то, что видишь, так сильно зависит от того, с какой стороны раздаточного прилавка стоишь? И еще: ну, вот сидят, а что дальше? Иван-старшина был понятен, и когда исход войны не определялся, и когда становился все ясней. А этих в чем обвинишь? Ну, были надменны. Им легче было сохранить чистоплотность. Но, может, они хотели сказать, сыт или голоден, не роняй достоинства, держись!

Тревожила какая-то грандиозная непонятность. В такой момент против всего лагеря! Будто не лагерфюрер посмотрел своим отстраняющим, форменным взглядом, а сосед, на сочувствие которого ты так долго рассчитывал.

Да что сосед! Соседа я лишними достоинствами не наделил бы. Не стал бы тревожиться, что за все время тот не понял, что у лагерфюрера такая же зыбучая память, как у «блатных». Надменности я не простил бы. А тут надменностью любовался! Она за что-то ручалась, что-то охраняла. Без надменности не выстоять столько времени над нашими взглядами.

И опять: не может лагерфюрер измениться! Не потерпит он их у себя. Выгонит, как только американцы привезут домой.

Однако эмпи отвезли его в больницу. И мы поразились. Сам штрафников в штубе № 9 сутками морозил. Голодом морил. А просидел несколько часов, и на руках в машину выносили. Ступеньки ногой нащупать не мог.

– О чем же ты, паскуда, раньше думал?! – разводил руками Блатыга.

А поварихи вернулись через несколько дней. Их не сразу заметили. Потом кто-то сказал взволнованно:

– Вернулись!

Но охотников, жаждавших проучить, уже не оказалось. Косоглазого власовца еще дергали, и я даже удивлялся, почему Галине сошло. Встречал ее так редко, что к удивлению каждый раз что-то прибавлялось. Как ухитряется не попадаться на глаза! И погрубела, будто никогда не была красивой. И досада от этого. Словно потерял и не знаешь, что потерял.

Потом догадался. Раньше видел ее чаще других женщин. Каждый день она стояла в раздаточном окне. Вместе со всеми я целый день ждал, когда можно идти за баландой. А здоровье, сытость и надменность принимал за красоту.

Догадаться я, может, и догадался. Но ощущение потери осталось. И появилось недоверие к своим недавним, казалось, таким точным впечатлениям.

8

Антифашистский комитет, который собирали французы, не начал работать. Американцам он не понадобился. Жажда возмездия усиливалась тем, что мы были голодны. Праздник сытости быстро кончился. Начался он за несколько часов до прихода американцев, когда мы с немцами растащили ближайшую армейскую пекарню. Кто-то увидел людей, несущих хлеб, и возбуждение, сходное с паникой, охватило

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
весь лагерь. Все было невероятным в длиннейшей очереди, в которой я выстоял два раза. И неожидаемое равенство с немцами. И свежесть хлеба, говорящая, что это выпечка последней ночи. И то, что с борта крытого грузовика хлеб раздавал немец солдат. Очередь притягивала опасность. Но еще больше ее притягивал к себе стоявший на возвышении молодой солдат.

Хлеб не успел остыть. Теплота его показывала, как недавно действовали законы, которые солдат нарушил. Не навсегда – на час они могли вернуться. С минуты на минуту могли появиться американцы. И за судьбу человека в немецкой военной форме никто бы не поручился.

По количеству буханок можно было определить, сколько человек уже бросили свою часть. Раздававшему хлеб помогал еще один немец, подносящий буханки из глубины кузова. Приступы паники, электризовавшие очередь, достигали и солдат. Но дела они не оставляли.

Конечно, в тот момент меня меньше всего манило сочувствие солдатам. Беспокоило и даже ожесточало, даст хлеба или не даст. Василь Дундук, попрошайка с задымляющимися глазами, Ванюша, которые были впереди меня, отошли с буханками. Наконец на секунду я увидел смущенные глаза солдата, догадался, что это отсвет принятой на себя опасности, и, схватив буханку, опять побежал в конец очереди.

Крохотный этот эпизод оказался на задворках того огромного дня. В лагере нас едва не перестреляли полупереодевшиеся солдаты. Паясничал под направленными на него ружьями Блатыга. Рвались снаряды, и американцы перевязывали раненых. Мы бегали отбивать немецкие пушки, а потом в трофейном грузовике мчались к эсэсовцам, охранявшим радиостанцию. И в промежутках происходило невероятное. Обнимались с французами военнопленными, ходили к ним в лагерь удивляться тому, что и у них такие же, как и у нас, двух-, трехэтажные нары. Катили бочку со смальцем, тащили оплетенные баллоны с ромом. Последним, что мне запомнилось в тот день, была алюминиевая кружка, шедшая по кругу. Когда ее передали мне, я под ожидающими взглядами, под поощряющими выкриками сделал несколько глотков и пошел на улицу. С порога ужаснулся вертикально вставшей земле. Попытался к ней прислониться и провалился в темноту.

Хлеб подходил к концу. Надвигавшиеся события должны были совсем вытеснить из памяти двух немецких солдат, раздававших выпечку последней ночи. Но и через много лет этот эпизод живет в моей памяти наравне с другими. Свет добровольно принятой на себя солдатами опасности спасает его от забвения.

Городок был в самом центре сильнейших бомбежек. До Эссена несколько километров. Чуть дальше до Вупперталя. Пожары Дюссельдорфа были видны. В последние месяцы сирены гудели в день по несколько раз. Объявляли тревогу, звучал отбой, а бомбы падали не у нас. Поэтому в городок стягивались эсэсовские склады. Лагерфюрер разрешил собирать крапиву на прилегаемом пустыре для нашей голодной баланды. А подвалы городских фабрик наполнялись вывезенными из Франции, Голландии, Бельгии консервами, вином, сигаретами. Мы знали об этом потому, что нас и французов гоняли на разгрузку. Единственный раз в жизни я тогда видел смертельно пьяных людей.

Возможно, первую тачку опрокинули нечаянно. Тот, кто ее вез, со страхом оглянулся на эсэсовца.

– Тринкен! – показал тот на разбившиеся бутылки.

Вино попробовали, однако охотников на него не нашлось. Это было белое кислое вино.

Один эсэсовец дежурил в железнодорожном вагоне. Другой принимал ящики с бутылками в подвал. Туда вел длинный сводчатый коридор. Должно быть, в самый жаркий день в подвале и коридоре сохранялась прохлада. Слабый электрический свет усиливал ощущение подземной сырости и замкнутости. Наверно, поэтому эсэсовец, который должен был дежурить в коридоре, часто присоединялся к тому, который стоял в вагоне. Специалистов к концу войны не хватало. Эсэсовцы были юнцами.

Вторую тачку опрокинули умышленно. Конечно, привлекло и само вино. Но ведь по молодости лет мало кто из нас о нем что-то знал. Волновали этикетки, яркая пищевая краска, причудливые бутылки. Не алкоголя искали – какой-то еды. И нашли.

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

Цветом и густотой вытекшее из разбившейся пузатой бутылки напоминало гоголь-моголь. Это был питательный яичный ликер. Крепость его оценили не сразу.

Самые истощенные и жалкие поплатились особенно жестоко.

Однажды на моих глазах человек выпил древесного спирта. На плите варилась картошка. Он схватил кастрюлю и крутым кипятком попытался залить огонь, сжигавший его изнутри.

Объевшиеся или опившиеся айерликером безумели постепенно. На вторые сутки лагерфюрер пришел в барак посмотреть на их покойницы заострившиеся лица. Уже Блатыга сказал:

– Жадность фраера сгубила.

Были жалевшие:

– До конца войны не дожили.

Кто-то интересовался:

– Надо бы узнать домашние адреса. Сознание к ним возвращалось на третьи-четвертые сутки. Несколько дней не могли подняться с матрацев и все ждали, что сделает лагерфюрер. Однако он их не замечал.

В те дни на улице видели пьяного француза военнопленного. Он слепо упирался в стены, в столбы с электрическими проводами. Обнимал их, пытался расшатывать. На ногах у него были деревянные башмаки, и шума он производил много. Француз был знакомый, потому что французов военнопленных мы знали в лицо. Рядом на трамвайной остановке стояли немцы. Они не смотрели в его сторону.

Происходило невероятное. Наши пьяные и этот оставленный на улице француз, и немцы, глядящие в сторону. Еще месяц назад лагерфюрер, конвоиры французов и эти немцы на трамвайной остановке знали бы, что делать.

Эсэсовцы загружали подвалы. Но уже всем было понятно, на какое веселье это вино пойдет.

Когда защитного цвета «джипы» и «доджи» втянулись на улицы Лангенберга, мы уже могли угощать американцев табачной продукцией ограбленной немцами Европы: французскими, голландскими, бельгийскими сигаретами. И одно из первых открытий – американцы отказываются от европейских сигарет. Свои им больше нравятся.

Пришла богатая, почти не воевавшая, не сносившая на фронте и одного комплекта обмундирования армия. При всей готовности к симпатии это было тем, что делало непонимание почти непреодолимым.

За то, что опыт их был таким, а не другим, миллионы людей сложили головы. Те, кто сидел в «джипах», и «доджах», мало что об этом знали. Им страшно повезло, и мы не могли им этого забыть. Хотя и винить их как будто не за что. О немцах, их жестокости, военной ожесточенности американцы знали не с чужих слов. Они ведь сами воевали на этих лучших европейских землях, на лучших европейских автострадах. У них был собственный воинский опыт, и именно это делало непонимание почти непреодолимым. Мы были участниками одной и той же войны. Но их война лишь отдаленно напоминала нашу. Нам казалось, что страх смерти, который испытали они, легче всего сравнить с испугом. Они не знали других его лиц. Голодного удушья, истощения унижением, непосильным трудом. Не знали того, о чем рассказать можно только тому, кто сам это испытал. Ведь пропустивший обед говорит о себе: «Я голоден». А проработавший сверхсрочно час: «Я устал». И спорить бесполезно. Собственный опыт несомненно всякого другого.

Мы сразу заметили, как много места они занимают в пространстве. А они, должно быть, поразились, нашей изможденности. Но, может, худобу они невольно отнесли к нашим природным качествам. Ведь, честно говоря, нам самим уже трудно было представить себе, какими мы были.

У каждого нашего истощения была своя история, свое лицо, свои губительные этапы. Мы сами не понимали, как уцелели на каждом из них. Что же об этом можно

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
рассказать тем, кто их не прошел?

Сорок первый год поделил нашу жизнь на довоенную и военную. Наша память долго цеплялась за то, что было до войны. Но и это прошло. Теперь помнили только войну. Раньше довоенная память спасала. Теперь стала источником страхов, Встретимся ли в послевоенной жизни с родными и близкими, найдем их здоровыми или искалеченными?

Дома американцев были целы, родные в безопасности. Тем американским солдатам, кто уже избежал тяжелого ранения, не было оснований делить свою жизнь на довоенную и военную. Они были здоровы. Война не успела стать для них жизнью. Мы же, в лучшем случае, были выздоравливающими. И нам бы не выжить, если бы война со всеми ее законами давно не стала нашей жизнью.

Из той глубины, где о тебе говорят «Не жилец!», мы смотрели на американцев, приехавших спасать нашего лагерфюрера. Впрочем, может, мы и не сознавали этой глубины, а чувствовали только ревность к здоровью, размерам, сытости. Лагерфюрер тоже был сыт и чисто одет. И мы догадывались: подобное тянется к подобному.

Ревность тоже усиливала жажду возмездия.

Мы видели мускулистую массивность эмп. Их неуязвленность невзгодами, которые так хорошо были знакомы нам. Их готовность защищать немцев от нас. Союзническое равнодушие. И не ценили, что нас как бы попросту разводят с немцами. Ведь нам не было сделано никакого внушения.

Когда хлеб подходил к концу, кто-то сказал, что на опушке леса видел оленей. И лес, и олени (если эти звери – олени) были помещичьей собственностью. Помещичий дом был на той же поляне, где мы залегли с винтовкой.

Лес был небольшой рощей, а поляна примыкала к шоссе дороге, так что все наши охотничьи приготовления были сразу замечены.

Пальбу мы открыли, когда убедились, что два желтых пятна, действительно появившихся на опушке, больше не приближаются к нам. Стрелял Петрович, настроивший прицельную рамку на довольно большое расстояние.

Когда пристально следишь за целью, улавливаешь и движение пули. Оказывается, глаз способен проследить и за таким движением. Особенно если расстояние велико.

Траектории замыкались рядом с оленями. Животные насторожились, а потом скачками стали уходить к лесу. И вдруг показалось, что одно из желтых пятен и траектория сомкнулись. Перед тем как скрыться в лесу, зверь споткнулся.

– Попал! – крикнул Петрович и побежал к лесу.

Увязая в густой зелени, как по колено в воде, мы побежали за ним.

Роща оказалась еще реже и меньше, чем ожидали. Несколько раз оленя видели сквозь деревья и кусты. Может, Петрович даже и не попал. Но и за раненым нам было не угнаться. Стреляли из пистолетов. Для пистолетной пули расстояние каждый раз оказывалось слишком большим. Винтовку Петрович оставил на том месте, где была засада.

Задохнувшиеся, почувствовавшие собственное слабосилие, разраженные и возбужденные неутомимостью раненого животного, неудовлетворенные безрезультатной погоней, возвращались мы в лагерь. Шли не по шоссе, а напрямую, лесом. На поляне, окруженной, по немецкому крестьянскому обыкновению, проволокой, увидели несколько коров и крупную телку.

Проволока делит луг или поляну на участки. Коровы съедят траву на одном участке, их перегонят на другой. Назначение у этой проволоки почти такое же, как у наших плетней – защита от домашних животных. Постепенно мы в этом разобрались. Но все же сходство проволочных ограждений с военными и лагерными нас раздражало.

Петрович пригнул нижнюю и приподнял верхнюю проволоку в ограде, пролез на поляну и направился к телке.

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Маня, Маня, – уговаривал он, делая короткие шажки и нацеливаясь рукой на веревку, которая была у телки на шее.

Телка несколько раз отходила. Но все-таки он поймал веревку, телка пошла за ним. Где-то рядом в ограде был проход, но телку проталкивали сквозь проволоку в том месте, где перелезал Петрович. Опять было охотничье возбуждение и азарт. Но, шагая со всеми в лес, я еще не понимал, что мы сделаем с телкой. Слишком это было громоздкое существо. Телка неохотно переходила в галоп, когда ее подгоняли.

– Здесь! – показал Петрович на маленькую полянку. Ванюша охватил передние ноги телки брючным ремнем. Петрович был потен. Он спешил. Надо было свалить телку и заломить ей голову так, чтобы натянулась кожа на шее. Первый страх отступил, когда из горла телки пошел воздух.

Подстелив мешок, который захватили для оленины, Петрович стал на колени.

– У нас в части был калмык, – сказал он. – За двадцать минут тушу разделявал. Лошадь или корову.

Выкаченный белый глаз телки уже не пугал, мы все помогли Петровичу. Но прежде чем, набив мясом мешки, ушли с поляны, прошло много времени. Петрович явно не был мастером.

– В детстве жил рядом с бойней, – говорил он. – Видел, как работает боец. Пояс широкий, как у грузчика. На поясе кобура с несколькими отделениями для ножей и для точильного камня.

Петрович задумался над тем, где удобнее сделать новый надрез, и рассказывал, как боец примеривался где-то за рогами огромного быка и бык рушился со всех ног, казалось, прежде, чем удар короткого ножа достигал цели. А боец выхватывал из кобуры большой нож и одним движением перехватывал быку горло так, что белые позвонки появлялись раньше, чем их успевала закрасить кровь.

Петрович был потен, не только потому, что спешил. Он первый раз в жизни резал и разделявал телку. Рассказывая о калмыке и бойце на бойне, он готовил самого себя. Не только юнцам вроде меня в той же нашей жизни с ходу приходилось браться за новые дела. Много раз я видел, как, возбуждая себя рассказами о малознакомой профессии, взрослые брались за то, что им никогда не приходилось делать. Но брались обычно те, от кого этого уже ждали. Скажем, попадись нам по случаю фортепьяно, послали бы за мной, потому что я как-то рассказал, что учился в музыкальной школе.

Я не думал, что к этому отнесутся с таким пристрастием, что не забудут и за три года и вновь и вновь будут возвращаться, испытывать, осмеивать: «Вон в том кафе пианино. Попроси хозяина, чтобы разрешил сыграть. Мы послушаем!»

С таким же пристрастием и недоверием относились и к рассказам о других профессиях. Но слушали жадно. Почему-то очень важно было знать, что у нас в лагере есть свой парикмахер, часовщик, музыкант. Ими хвастались. И в случае нужды звали того, за кем кличкой закрепилось: Портной, Доктор, Инженер.

Петровича никто не называл Мясником. Но, когда собирались идти за олениной, он готовил мешки и набирал в специальный мешочек соль. Он взял все на себя потому, что другие к этому были еще меньше подготовлены.

– Жара! – объяснял он свою заботу о соли. – Без соли за несколько часов пропадет.

Мешочек с солью несли по очереди. И каждый, кто брал его на плечо, говорил:

– Еще будет ли мясо?

Теперь Петрович следил, чтобы каждый кусок густо солили.

– Надо было еще соли захватить! – жалел он.

Его жестокие рассказы о кровавой профессии бойца на бойне были понятны. Он хорошо сделал свое дело. Если бы не он, мы остались бы без мяса. К тому же нам

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
каждую минуту приходилось оглядываться, не идут ли хозяева угнанной телки!

В лагерь вернулись с мясом в повлажневших мешках. Рубахи на спинах тоже повлажнели. Дня два ждали, что хозяин телки явится в лагерь с претензией. Но никто не приходил.

9

Самоснабжение сделалось нашей главной заботой. То, что удавалось добыть, тащили Петровичу. Он действительно стал завхозом. И, когда американцы выдали хлеб и суп, выяснилось, что мы можем не становиться в очередь к бачку. Это невероятное торжество оценит тот, кто годами зависел от бачка. Хлеб был забытой белизны, выпечка – довоенной воздушности. В супе много мяса. Но мясо теперь у нас было свое. Петрович варил на всю компанию.

– Куда? – с нарочитым равнодушием спрашивал я Костика, когда он с миской направлялся в столовую. – За супом? Возьми и мою порцию. Я все равно не получаю.

Хлеб мы все-таки брали американский.

Я теперь перебрался к военнопленным. В очередь чистил картошку, подметал, вместе со всеми садился за стол. Слушал утренние, дневные и вечерние разговоры.

К еде не могли привыкнуть. Она означала слишком многое. Наесться можно было и супом, который выдавали американцы. Густая смесь картошки и тушенки была ничуть не хуже того, что мы сами себе варили. И вызова тут не было. Его бы и не оценили. Тушенку с картошкой американцы выдавали раз в день, но без всякого учета. Тот, кто пробовал получать дважды, два раза и получал. Но долгожданной радостью было не получать. И вызов тут, конечно, был. Была попытка вернуть власть над собственной судьбой, разорвать с зависимостью, в которую попадаешь, становясь в очередь к бачку.

Из нашего лагеря под мостом американцы перевели нас в бараки бывшей эсэсовской охраны радиостанции. В бараках было чисто. Даже запах тех, кто жил здесь когда-то, успел выветриться. Перевод из города на поросшую лесом гору встретили с подозрением. Место, казалось, должно было привлекать тех, кто когда-то здесь служил. Время страхов и подозрений не прошло. Успокаивало лишь то, что вместе с нами поселили поляков. Они заняли один барак, зажили отъединенной от лагеря жизнью.

О том, что они собираются в Канаду, мы узнали, когда поляки стали продавать вещи, которые с собой за океан не захватишь.

Прежде всего расстались с вещами, которые ни к чему в невоюющей стране. За кусок сала, который для этой цели выделил Петрович, я выменял у поляка бельгийский пистолет с запасной обоймой.

Как и мы, поляки в переходные дни добывали себе оружие.

То, что они ехали в Канаду, почему-то считалось тайной. Показывая мне пистолет, поляк глядел с подозрением. И сам был подавлен вниманием соседей. Общая тайна лишала его самостоятельности. Мы сидели на его койке, и я, как и он, невольно старался не смотреть по сторонам.

Общая тайна держала их вместе. Не то что из лагеря – из барака они выходили редко. А нас тянуло на улицы города, в трамваи – просто в те места, куда раньше не пускали.

Конечно, нас вело любопытство. Но, садясь в трамвай, вмешиваясь в толпу, заходя в кафе, в котором не было ничего, кроме безалкогольного пива, мы не чувствовали себя шатающимися без дела.

Мы искали то, чего нас лишали несколько лет. Полицая, который приводил в лагерь солдат, мы так и не нашли. Лагерфюрера американцы увели из-под носа. Еще одного полицая встретили в соседнем городке и побили. Но и он остался жив. До сих пор мы не сделали главных шагов, чтобы соединиться с отнятой у нас судьбой.

Входя в кафе, мы с вызовом приглядывались к тем, кто сидел за столиками, ждали, не скажет ли кто-нибудь из них нечто такое, что еще месяц назад непременно бы

сказал.

Однажды вслед за нами в трамвай поднялся немец с дочкой и женой. На полном его лице выступали капельки пота. Это был плотный, сильный человек. Его раздражали трамвайная духота и теснота. Но его просто взорвало, когда он понял, за кем поднимался в трамвай и с кем рядом стоит.

С нерасчетливостью бешенства – нас было трое – он заорал тем самым голосом, который мы так хорошо знали. Привычным жестом сильной руки показал нам на выход – вон! И первый услышал тишину, которая наступила в трамвае. Руку он опустил, но продолжал орать, уже обращаясь не к нам, а к трамвайным пассажирам.

Может, все произошло неожиданно для него самого. Сработали привычка и раздражение. А теперь было поздно отступить.

Я видел, как расплзается серое пятно пота на его белой рубашке. Боковым зрением видел его жену. Она тоже была в чем-то белом или сером. Лицо ее было таким, будто она не успела мужа от чего-то удержать. И только в глазах девочки была ясность. Она ждала от нас послушания. Это было хуже всего.

Тем же боковым зрением я улавливал движение в трамвае, смущение моих напарников, которые еще нерешительно – тоже прислушиваясь к тому, что делается в вагоне, – начали теснить немца к стене.

Мы искали этот случай, чтобы усилить ослабевавшую решимость к возмездию. Но мы не ждали такой тесноты. Не ждали, что рядом с немцем окажутся дочь и жена и что трамвайная тишина сложится в нашу пользу. Но, может, труднее всего было от вежливых полуулыбок, с которыми мы только что сторонились, освобождая место немцу и его жене, сразу перейти к чему-то другому.

Кто-то из пассажиров сказал немцу что-то укоризненное. А он, уступая нашим засунутым в брючные карманы рукам, отходил к стене трамвайной площадки. Это тоже смущало нас. От неукротимого здоровяка мы ждали яростного сопротивления. Присутствие жены и дочери должно было возбуждать его самолюбие. А он, не прекращая бешено орать, послушно отходил под нашим несогласованным напором.

Лучше трамвайное окно, в которое он уперся своей белой рубашкой, было бы подальше. По смущенным лицам напарников, по собственному смущению я чувствовал, что наши брючные карманы так и останутся оттянутыми. Никто из нас не решится в трамвайной тесноте ответить яростному ненавистнику так, как он этого заслуживает.

Плюясь и проклиная, немец сошел на ближайшей остановке. За ним дочь и жена. Он грозил нам той рукой, которой помогал им сойти по трамвайным ступеням.

Мы проехали еще две остановки.

– Ванюши с нами нет, – сказал я, когда мы тоже вышли из трамвая.

– Блатыгу сюда, а не Ванюшу, – ответил Костик. И повернулся к Дундуку: – Что ж ты его не шархнул? Он же тебя первого обругал!

Василь угрюмо засопел.

– Я ж в стороне стоял, – сказал Костик. – Между мной и им был человек.

– Он всех ругал, – сказал Василь.

Костик всплеснул руками.

– Заговорил! Дундук!

Василь остановился.

– Сам дундук!

Это было неожиданно. Я не думал, что Василь когда-нибудь этому научится.

– А! Не нравится! – побледнел Костик. – Дундук несчастный!

Василь вздохнул в тот самый момент, когда, как мне казалось, он ударит Костика.

Мы двинулись дальше, и Костик все всплескивал руками – переживал минуту, в которую Василь едва не ударил его. Все шло будто по-старому, но минута не забывалась.

– Зачем Блатыге немец? – сказал Василь.

– «Зачем»! – обрадовался Костик. – Затем! Все тебе объясни! Все растолкуй!

– Ты сам как Блатыга, – отвернулся Василь.

Ход мысли Костика мне был понятен. Разве с таким Дундуком кашу сварить! В лагере Костик расскажет, как из-за Дундука упустил фашиста.

Но, чтобы рассказывать без помех, Костик должен завербовать меня в союзники или восторжествовать надо мной, как над Дундуком. Что можно вообще не рассказывать, нам и в голову не приходило. И, споря, мы вновь и вновь переигрывали ту же историю – отвоевывали себе достойное место в будущем рассказе о ней.

Василь шел, молча посапывая. Упорного молчания я не любил. Человек так уверен в своей правоте, что наглухо запирается. Собственной правоты ему достаточно. К тому же в молчании какой-то непереносимый упрек. Василь Дундук додумался, а ты нет. И правота как бы не собственная, а деревенская, бессловесная, с которой он когда-то стоял перед нами набыченный и которая опять нет-нет и скажется в его упорном молчании.

– Блатыга немца не шарахнул бы? – спросил Костик.

– Лучше он нас кого-нибудь шарахнет, – не сразу ответил Василь.

Я и сам так думал, но почему-то с сочувствием услышал, как возмутился Костик:

– Понимаешь! Дундук! Ты шарахнешь? Да?

Василь опять замолчал, и раздражение от его молчания накапливалось. Без слов нельзя спорить. Без спора не договоришься. И потом, если слов нет, на чем же держится правота?

Это было знакомое раздражение. Оттого, что чаще говорили мы, а Василь молчал, нам с Костиком казалось, что он соглашается с нами. Но потом оказывалось, что это не так. И это «не так» держалось не на словах, которые можно было бы понять, а на молчании, к которому неизвестно как подойти. Из глубины этого молчания возникало что-то совсем уж неподобное.

– Зачем немца шарахать? – сказал Василь, словно решил выговориться до конца.

– Он же фашист! – сказал я. – Месяц назад он бы тебя живьем съел!

Василь молчал, и я возмутился:

– Что же ты молчишь?

С той же набыченностью Василь ответил:

– Пусть.

– Что пусть? – взорвался я.

Василь отвернулся. Иногда мне казалось, что я слишком рано взрываюсь и Василь отворачивается от крика, от возмущения, на которое не хочет отвечать тем же. Я пробовал другой тон, но и тут Василь улавливал раздражение или останавливался перед неизвестной мне пропастью, которая разделяла нас.

Ощущение пропасти и заставляло меня взрываться. Я чувствовал, что перейти ее Василю мешает не то, о чем спорим, а множество других мыслей и ощущений,

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
связанных так, что он невольно отворачивается от Костика или от меня.

Когда он отворачивался от Костика, мне было понятно. Я сам от него отвернулся бы охотно. Но, пока Василь не погружался в глубины своего молчания, нас с ним связывала симпатия, а симпатия возвращается.

Иногда мне казалось, что Василь уже перебрался к нам со своей деревенской стороны. Ходил с нами за кроликами, понимал писанные и неписанные лагерные законы, не давал себя в обиду. И не тем, что бросался с кулаками, а вовремя показывая эту готовность. В лагерной тесноте это умение важнее способности ответить на обиду кулаком. Тут надо и угадать возможного обидчика, и не дать ему зайти слишком, далеко. Чтобы все обошлось без больших потерь для самолюбия с обеих сторон.

Во всем этом Василю было трудно разобраться. Ведь явился к нам он набыченным и бессловесным. Но разобрался. И даже не очень много времени на это потратил. И теперь только мне и Костику позволял обижать себя в спорах. Мне по дружбе, Костику – потому, что ему это позволяли все.

– Пусть другие шарахают, а ты посмотришь, – сказал я. – Так? Твое дело – сторона. Но кто-то же должен?

– Ему не надо! – злорадно сказал Костик.

– Кому надо, пусть шарахает, – упрямо ответил Василь.

Я понимал, словами тут ничего не выпорешь. Дело не в словах, а в том, что мы только что пережили в трамвайной тесноте. Мы столкнулись с какой-то невозможностью. Костик и я никак не могли с нею согласиться. А Василь сразу же ее для себя признал. Легкость, с которой он на это пошел, нас страшно возмущала. Он отделялся. И деревенское упрямство, которое никакими словами не пробьешь, казалось нам и глупостью, и предательством.

– Что ж с нами ходишь? – спросил я.

– А с кем ему ходить? Кто его возьмет? – сказал Костик.

Это было похоже на правду. Как и Костику, мне уже начинало казаться, что фашиста упустили потому, что именно решимости Василя нам троим и не хватило.

Когда мне не удавалось победить свой страх или жалость, я стыдился. У Василя же было раздражавшее меня бесстыдство признать правильным то, что чувствуешь. Словами я убеждал самого себя и заговаривал свои неправильные ощущения. Все мои ровесники этому учились. И упорство Василя было очень заметно.

– Вот Дундук! – всплескивал руками Костик. – Деревня!

Я догадывался, однако, какая нужна сила, чтобы устоять перед словами, которые все считали правильными. Я за собой такой силы не ощущал. Куда легче было справиться с собственными страхами или жалостью. Василь и говорил мало потому, что опасался ловушек, которые есть в словах. Иногда, правда, казалось, что Василь стал поступать и говорить так, как от него давно ждали. Но потом оказывалось, что это не так. Когда это выяснилось, мы возмущались. Костик ругался, а я с подозрением присматривался и прислушивался к молчанию Василя – что там вызревает опять!

Но сейчас случай был особый. Победа была на фронте. Но нас-то три года угнетало нефронтовое оружие! Три года истошающих страхов и ненависти – это было покрепче клятв. Оружием отнимали у нас судьбу. Оружием надо было ее вернуть, В этой войне у каждого из нас была своя вина и расчеты у каждого должны быть свои. Три года унижения нельзя было везти домой. А мы упустили случай за случаем, будто воля к возмездью с каждым днем слабела.

Вот из-за чего мы ругались с Василем.

10

Женился друг Аркадия Николай, вдвоем с женой они заняли двухэтажную койку, занавесив нижний этаж одеялом. Входя в комнату, теперь надо было кивком или

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

глазами осведомляться, дома ли, одеяло всегда было опущено. Выбирать слова или говорить шепотом вначале казалось обременительным. Обременительной была тишина, наступавшая после того, как гасился на ночь свет. Неудобна была и какая-то непроходящая ласковость Николая. И то, что женился именно он, казалось неожиданным. От него не ждали, что он что-то сделает первым.

Следы ласковой сонной помятости на его лице не проходили и днем. Поднимались они с женой позже всех. Спали после обеда. Жена Николая вначале вообще большую часть дня проводила за занавеской. Обморочная эта сонливость, которой гордились оба, казалась ответом не только на женитьбу, но и на конец войны, на безопасность, которая лишь замаячила, а вовсе не наступила совсем.

Жену Николая звали Марусей. Нашу комнату она проходила потупившись. Кожа на ее лице была распаренной, как после бани. Первое время она часто убегала в женский барак к подругам, от которых Николай ее увел. В этой потупленности, в семенящей походке, в расцветченной сном и сытостью коже, в шепотах и смешках за одеялом, в смелости, с которой она пришла в мужской барак, было раздражающее надеждой противоречие.

Волчья, беспокойная подвижность Николая почти исчезла совсем. От койки он пересаживался за стол. Сидел расслабленный. Я догадывался, что это за лень.

– Ты на меня ласково не смотри! – говорил ему Петрович.

Николай, усмехаясь, подпирал ладонью подбородок.

– Не думал, что так быстро привыкну, – говорил он. – Хороша девка. – И изумлялся: – Заботливая! Еще месяц проживем, расстаться будет невозможно. Я, говорит, знаю, что я тебе жена до первого семафора. Но все равно жена, а не любовница. Домой приеду, родителям скажу: «Я замужем».

Он смеялся этим льстящим ему тонким различиям.

– я ей объясняю: «Не до семафора – до военкомата!» Договариваюсь: «Поедешь домой, а я напишу». Плачет!

– Откуда она? – спросил Петрович.

– Из Винницкой области.

Все усмехнулись. Где Винница, а где Ленинград, из которого Николай родом!

А я понимал: ленится, не смущается, ни к чему не стремится Николай потому, что чувствует себя всего достигшим.

Выражение достигнутой у него было таким полным, что поднималось удивление: а где же многолетнее беспокойство? Неужели ответ на все так прост? Лень и сонливость вызывали чувство превосходства: «Мир для нас никогда так не сузится!» Была догадка: «Вот в чем Николай первый!» Был интерес к Марусе – что в нем нашла? Было бы понятней, если бы плакала из-за Аркадия или Ванюши! Была зависть: это ее смелость вызывает у Николая ощущение достигнутой. Никому ничего и доказывать не надо. Задушенные смешки и шепоты доносятся с его койки.

И было, конечно, ошеломление от этих шепотов. От взгляда на цветущее Марусино лицо. И ревность. К любой лагерной удаче можно было присоединиться: к дружескому разговору, к куреву, к сытости. А тут человек счастлив, а ты ни при чем! И уж совсем странная ревность: такое счастье Марусе внушить мог только ты, а не кто-то другой.

В этой ревности нельзя было признаться даже самому себе. Да и не ревность это была, а мечта. Сам я с девушками знакомиться не решался. Но, если кто-то знакомил меня со своей подружкой, мечта моя тотчас перекидывалась на нее. Это была еще детская ревность, и переходила она в детскую мечту. Не к кому-то я ревновал, а к полноте чувства, по робости недоступного мне самому.

Счастливицы, переступившие порог в мир, о котором я мечтал, были у всех на глазах. Да и дверца – вот она! Сколько разговоров я слышал, что открыть ее – раз плюнуть! Однако сквозь охраняемые ворота бегал, под проволокой лазил, а в эту

Плотина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
защищенную лишь страхом стыда дверцу не решался войти.

«Эгаль – етцт криг!» – говорили немцы. «Все равно – сейчас война!» Не очень-то представляя, что именно должна «списать» война, я тоже повторял эти лихие фразы. Уж если бараки, теснота, короткая жизнь, то и ухаживание должно быть коротким. Так говорили Костик и Блатыга, так думал я, пока однажды не пришло мне в голову, что ни у Костики, ни у Блатыги, ни у Дундука, ни у многих других моих знакомых, которые охотно говорили об этом так же, как все, вообще нет никаких ухаживаний – ни коротких, ни длинных. Вроде пустяковое открытие, но оно показало мне разницу между тем, что есть на самом деле, и тем, как об этом говорят.

Только одно любовное приключение пережил лагерь до освобождения. В мужских бараках следили за всеми его подробностями потому, что героем приключения был глуповатый, добрый, но прибывавшийся к блатным Стасик. Он постоянно надувался и тарачился от шумной храбрости и вообще был из тех, кто не умеет говорить тихо. Но дело было не в одной его крикливости. Хвастовством он завоевывал себе место среди блатных. К тому же он чувствовал, что впервые его слушают так заинтересованно.

В решающий день его собирали всей компанией. Нашелся даже носовой платок в карманчик пиджака. Кто-то протянул самодельный деревянный гребень:

– Волосы не выпадают.

Стасик истово причесал свою густую шевелюру. Подношения он принимал серьезно и советы выслушивал как наставления с кем-то расквитаться, кому-то пригрозить.

Женские бараки были под жесточайшим запретом. Но не с полициями и их запретами готовился расчитаться Стасик. Не этим объяснялась его воинственность. Был март сорок пятого, запреты доживали последние дни. Стасика подогревала «блатная» воинственность. Глупость и добродушие, малые переживания сохранили ему ясность глаз, чистоту кожи. Непомерная шевелюра сельского модника, платок, наполовину выставленный из карманчика пиджака, сочетались с немецкими обносками. Это не вызывало смеха, хотя какое-то противоречие мы улавливали. Истощенные и оборванные, над чем мы тут могли смеяться! И «блатные» претензии Стасика никого не удивляли и не отталкивали. Даже Василь Дундук набывчивался уже не по-деревенски, а «по-блатному».

К тому же на Стасике лежал ослепительный отблеск удачи. Запреты, хотя и доживали последние дни, могли больно ударить. И риск был более свободным, чем тот, который требуется, скажем, для воровства картошки. Но, главное, Стасик не один на него шел – кто-то рисковал для него. Кому-то нужны были его слегка косящие глаза, его крикливая храбрость.

Этот «кто-то» и заставлял смотреть на Стасика с новым интересом.

Мы ведь были ровесниками. Спешили друг перед другом взрослеть. Окликнешь привычно кого-нибудь, с кем месяц или два не встречался, а в ответ останавливающий взгляд. И видишь, плечи у человека другой ширины, голос другой и глаза посветлей. Не хочет он, чтобы его по-старому окликали. Чувствуешь себя обозначившимся. К новым отношениям ты не готов, на старые тебя лишают прав. Момент не очень-то приятный. Особенно если не остерегся, окликнул при других.

Может, и Стасик повзрослел. И только не заметил, как крикливость его перешла в настоящее удалство, а глупость – в ум. А Колька Блатыга и Сметана заметили. Стасику с ними хорошо – на меня он и не смотрит. Углы губ запениваются от громких слов, глаза тарачатся от возбуждения. Блатыга и Сметана поддакивают значительно, и Стасик возбуждается еще больше. Если специально не прислушиваться, слышны только ругательства и угрозы. Кому грозят, сразу не поймешь. Но в том-то и дело! Грозят прошлому, настоящему, будущему. Разогревают себя, запугивают слушающих. В этот момент к ним лучше не подходи! Неузнающий взгляд, презрительная усмешка.

Взрослели мы, хвастаясь друг перед другом: не тяжело, не холодно, не страшно! Всю жизнь я искал храбрость. Понимал, нет без нее чувства собственного достоинства, а без него достойной жизни. Вот и Стасик ищет свою храбрость у блатных. Ищет свою достойную жизнь. От признания пришло к нему чувство удачи. От «блатной» истины посветлели глаза. На всех смотрит, будто припоминает прошлые

обида.

Обид, конечно, было много. И память на них свежа. Но у Стасика не больше, чем у других.

Девушку Стасика никто не знал, хотя он пытался ее описывать, объяснял, в каком бараке живет. Все слушали внимательно, но потом Блатыга с досадой говорил:

– Покажешь!

– Покажу! – с радостной готовностью схватывался Стасик. Он и показывал, но издали, в колонне, на пересчете. Ни описывать, ни показывать как следует глупый Стасик не умел. К тому же в колонне интерес пропадал. А имя мало что говорило. Кто знал двух Сонь, кто – ни одной.

Сейчас это может удивить. Бараки были рядом, баланду получали из одного раздаточного окна, на работу гоняли в одной колонне. Но удивлял как раз Стасик, которому хватало предприимчивости. Удивила бы и меньшая предприимчивость. И дело было не только в запретах и лагерной ослабленности. Не в них одних. Лагерные запреты усиливали возрастную робость. Так что разговоры и мысли о женщинах были сами по себе, а наши ровесницы в соседних бараках жили сами по себе. И связи тут никакой не было.

Чаще мы видели их всех вместе: в колонне, на пересчете, в кухонном бараке. Как ели мы сами, я не замечал. Но было страшно смотреть, как снуют ложки в их руках, как стучат о дно мисок. О двух смельчаках, которых полицаи с собаками вытащили в женском бараке из-под нар, рассказывали жуткую историю.

Только на время тифозной эпидемии расстояние между нами и нашими девушками сократилось. Но и в тифозном бараке болезнь и загнанность разделяли нас. Потом дистанция полностью восстановилась. Мы стеснялись нашей изможденности, зависимости от полицейских окриков. Угнетенное самолюбие подавляло мужскую предприимчивость. Оно же рождало ревность. Мы ревновали девушек к французам и бельгийцам, к тем, у кого больше еды, кто мог себе позволить лагерную франтоватость.

Девушки получали ту же пайку, что и мы, но лагерный режим давил на них чуть послабее. Ни по каким другим причинам, просто из-за того, что они девушки. И чувствовали они себя немного свободнее, и самолюбие их было не так угнетено, как наше, не так растоптано. Наша ревность это тоже отмечала.

Мы были неровней нашим девушкам – вот что ужасно!

– Француженка! – говорил Костик вслед какой-нибудь хорошенькой лагернице. – Шоколадница!

– Откуда знаешь? – спрашивал кто-нибудь.

– С французом стояла!

Девушки быстрее запоминали иностранные слова, были предприимчивей нас. Однажды в каком-то фабричном коридоре разговаривающей с французом была замечена Мария Черная. Бывшие тифозные, помнившие, как она добровольно пришла в тифозный барак и как там себя вела, не хотели этому верить. Казалось, ее репутации «ни с кем» должно хватить до самого конца войны. Но в том же коридоре с тем же французом ее увидели опять. Кто-то упрекнул:

– Мария, с французом?

Она возмутилась:

– Это мое дело!

Мы поняли: ухаживать за тифозными совсем не то, что постоять с кем-то в фабричном коридоре.

Но, в общем, порознь мы наших девушек видели редко. В голодные рабочие перерывы они собирались в темном фабричном закутке, тоскливо пели: «Ой, гудут, гудут

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
вражи вороги, хочут разлучиты нас...» Или: «Завяжи очи темной ночи тай веди до риченьки...» Эти украинские песни я с тех пор нигде не слышал и не знаю, правильно ли запомнил и записал две строчки.

Подходил немец и что-то недоброжелательно спрашивал. Девушки не сразу разбирали.

– Молитесь?

Почувствовав, что смысл вопроса понят, немец показывал на станки, на фабричный потолок.

– Здесь не церковь!

Пение раздражало немцев, но только один мастер по фамилии Брок разгонял поющих девушек, подкрадывался к ним за станками в темноте, замахивался резиновой палкой.

Напротив дверей мужской и женской уборной в механическом цехе дежурил фабричный полицейский. Это был непомерно толстый, озлобленный своей обязанностью человек. Каждый раз, когда он направлялся в туалет с проверкой, шея и щеки его багровели. Как напоминание каждому, стоял он под большими электрическими часами в широком цеховом проходе и наливался кровью от одного того, что все его здесь видят. Обязанности свои он выполнял все с большим озлоблением. Вслед за нами входил в уборную, открывал дверцы, с которых специально были сорваны замки. И скоро перестало казаться, что неожиданное поручение начальства унижает его.

Женщин от него некоторое время защищала естественная, что ли, стыдливость. Он им грозил блокнотом, в который заносил их номера и имена. Но однажды двинулся к дверям женской уборной и выгнал оттуда стайку русских девушек. И то, как входил туда и как выходил оттуда, было замечено всеми. Немцы смеялись, посмеивались и немки. Девушки, которых он выгонял, тоже отшучивались. Один он был непреклонен и багров. Под смех и выкрики провел двух девушек к их мастерам, чтобы те могли наказать их или сделать им внушение.

Все происходило напротив цеха, в котором я тогда возил тачку. На двух машинах работали немки Инга и Кристин, им помогала русская Христина. Так что в цеху были две Христи – русская и немка. Русская была среди тех, кого полицейский выгнал из уборной. В черном клеенчатом фартуке она шла впереди всех и что-то громко говорила полицейскому. Того, что с ней происходило, всегда, казалось, было слишком мало, чтобы испортить ей настроение. Не то чтобы мне это не нравилось, а просто было не по силам. Жизнерадостными в этом месте могли быть только блатные. Простой веселости я понять не мог.

Я уже знал, веселость – сила. Но в иные минуты думал, что как раз такую силу называют дурной. Не замечая моей унылости, Христя толкала меня мокрым – она работала с щелочной водой – животом, показывала свои чистые зубы и спрашивала, знаю ли я, как называется место, в котором не было, нет и не нужно зубов. Она была старше меня лет на пять, и я поражаюсь тому, что взрослая женщина может так шутить с подростком. Это не было заигрыванием. У заигрывания есть надежда на продолжение.

Христинина веселость делала осторожнее и немцев. Они тоже чувствовали в ней силу, которая шла ниоткуда и ни от чего не зависела. На полицейского, который привел ее к мастеру, она махнула голой по локоть рукой.

– Унтерменш!

Усатый, состарившийся в фабричных полицейских, он багровел, ожидая, что мастер накажет ее. Свой долг он выполнил и ждал, чтобы его выполнили другие.

Мастер погрозил Христе пальцем и кивком отпустил полицейского.

Сцена продолжала вызывать у всех любопытство, и я сказал Кристин и Инге:

– Так и вас, как Христю, с полицаем!

– Нет, – ответила Кристин, – нас нет!

Инга засмеялась.

– Нас нет!

Чтобы я понял, они еще раз повторили, что их-то из туалета с полицаем не поведут!

Инга и Кристин тоже устраивали себе в уборной рабочий перерыв. Иногда прихватывали с собой и Христю. Она шла тогда, с вызовом поглядывая на мастера и полицая.

Инга приходила на работу с синими полукружьями под глазами. Ее спрашивали, спала ли она ночью. «К сожалению, спала», – отвечала она. Ее утренние синие полукружья возбуждали воображение шутников. Но, как и в Христе, в ней была сила, не убывающая от этих шуток. На Ингу смотрели, будто место, где она стояла, ярче освещено. Подшучивающий над ней тоже будто разом ступал в ярко освещенное пространство. И тотчас ощущал напряжение. «И долго ты выдержишь?» – говорил весь вид Инги. Так она держалась и с мастером, когда тот ее отчитывал.

Мастера звали Альфред. У него было невероятно худое лицо. Никак нельзя было сказать, что сам мастер очень худ. Но чисто вымытая кожа обтягивала кости черепа, будто совсем лишенные мышц. Череп к тому же был кривоват. К жуткому этому впечатлению нельзя было привыкнуть, хотя я уже видел такие немецкие лица и, значит, был готов увидеть еще одно. Пронзительный деревянный или костяной голос усиливал впечатление от обтянутого кожей несимметричного черепа.

Носил Альфред чистый синий комбинезон из хлопчатки. Это выделяло его среди мастеров, носивших желтые халаты. И руки у него были такой чистоты, будто он не притрагивался к деталям, которые обрабатывались в его цеху. Скрипучесть голоса усиливалась тем, что он стремился говорить медленно и рассудительно. Назидательность так и скрипела в его деревянном или костяном горле.

Похоже, что он гордился своей сдержанностью и назидательностью. В мире криков и замахований он свободно их выбрал.

В общем, он был не хуже, а может быть, и лучше других. И не его вина, что смотреть на него было невыносимо. Или, напротив, что, как от Инги, глаз от него нельзя было отвести. Все время хотелось проверить свое первое впечатление.

Оно было ужасным. И дело не только в его несчастном лице. В мире, где череп и скрещенные кости носили на своих мундирах и фуражках сотни тысяч людей, его уродство приобретало неожиданный смысл. Казалось, и мастером его назначили из-за его лица.

Все это он, конечно, прекрасно понимал.

Решетчатая контора его была посреди цеха. Она была хорошо освещена дневным светом или большими цеховыми лампами. Когда же Альфред работал за своим столом, он включал настольную лампу, и кожа на его черепе становилась красноватой, как от сильного загара. Сбоку ли, с затылка ли на него в этот момент посмотреть – отовсюду был виден его ужасный череп.

Со своей тачкой я оказывался с разных сторон конторки. От работы спасался в уборной или в другом укромном месте и потому все время следил, на месте ли Альфред. Он знал, что я плохой рабочий. Другим рабочим у него тоже не было оснований доверять. Но сдержанность его сказывалась еще и в том, что, сидя в конторке, он редко поднимал голову от стола.

Ни мне, ни другим поблажек он не давал. Только редко поднимал голову от стола и, когда собирался выйти в цех, делал это у всех на глазах неторопливо. За все это я стал его постепенно уважать и даже испытывать к нему род странной благодарности.

По прихоти той ужасной системы, для которой Альфред работал, сторонником которой он, несомненно, был, он из урода превращался во что-то вроде живой эмблемы. Эта жуткая система давала человеку с его лицом единственный в своем роде шанс. Это видели все, этого не мог не понимать он. Но шанс надо было использовать – так работала система. А он избрал сдержанность.

И, ругая своим пронзительным, скрипучим голосом Ингу, рискуя увидеть в ее глазах нечто неприятное для себя, он не переставал быть сдержанным.

Конечно, и уважение, и странная благодарность, о которой я говорил, были тогда в самой глубокой тени страха и настороженности. После каждой провинности, а за день их накапливалось много, я ждал, что сдержанность оставит его и он уступит обычному в этом месте желанию размахнуться и ударить. Ведь между токарным цехом Брока, где дралась, и цехом Альфреда никакой перегородки не было. Перегородка была в ужасном черепе Альфреда. Не природа наградила его сдержанностью. От природы он был возбудимым человеком. Много раз бывший причиной его ярости, я видел, каким возмущением загорались в мертвых глазницах его глаза, слышал, на какую пронзительную высоту поднимался его голос, следил, как подрагивали нервные пальцы, и понимал, какому испытанию в этот момент подвергается та самая перегородка. Ярость его не переходила границу, за которой мастера начинали драться, но каждый раз перегородка выдерживала. С облегчением я замечал в его глазах отлив, прислушивался к тому, как смягчалась в голосе ярость, переходила в привычную назидательность.

– Абер нексте маль!.. – грозил он.

Но и в следующий раз все повторялось.

Он мог и разыграть возмущение, но с каким-то странным пониманием и даже сочувствием мог и улыбнуться страху, который сам же на меня нагонял.

Не улыбка – возможность улыбки всегда жила в его страшноватом лице. Глядя на него, я вымогал улыбку. В самый разгар распекания где-то в его глазницах возникала догадка, преодолевая сопротивление, приходила, улыбка, он покачивался с пяток на носки, говорил: «Ну-ну!» – некоторое время пытался совладать с лицом, закладывал руки за спину и уходил. Со спины это был довольно крепкий и даже не очень худощавый мужчина в синем комбинезоне.

И в памяти почему-то оставалось не то, как ругался, а то, как поддался моим домогательствам и как в самый разгар угроз между нами проскочила искра понимания. Отойдя на несколько шагов, он иногда возвращался: искра, которой он дал проскочить, беспокоила его. Говорил еще раз что-то угрожающее и уже не позволял себе улыбаться.

Счет моим провинностям день ото дня рос, страх накапливался, искра понимания проскакивала все реже, потому что разумной меры между работой и уклонением от нее я не выдерживал. К тому же начались мероприятия по ужесточению дисциплины. Полицай, стоящий под цеховыми часами напротив мужской и женской уборных, был одним из них.

Заводская продукция упаковывалась в картонные пакеты, те – в плоские деревянные ящики с веревочными ручками. Склад ящиков и пакетов был в дальнем конце цеха. Я поднимался по ящикам, как по ступеням, под самый потолок, там у меня было убежище, которое я выстелил картоном.

Я прятался здесь дольше, чем раньше в уборной, и выходил, когда подсказывали страх и осторожность. Но страх перед работой и усталость оказывались сильнее осторожности. Альфреда я заставлял в ярости. Он набрасывался на меня:

– Во бист ду ден?!

– Аборт, – отвечал я.

Показывая на полицая, Альфред кричал, что в уборной меня искали и там меня не было.

«Искали» – это очень плохо. Когда не только глаза Альфреда, но и еще чьи-то на мне сойдутся, Альфред поступит как все.

Возможность того, что Альфред поступит как все, с каждым днем увеличивалась. Когда он меня ругал, мог подойти Брок. Кто-то мог узнать о моем убежище и донести. Терпение самого Альфреда могло лопнуть. Как бы ни повернулось, не избежать мне собственных упреков в глупости и неумеренности, из-за которых я не

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
поладил с таким мастером. Вот что было досадно. Ведь каждый шанс, который здесь давала судьба, мог оказаться последним. Боязнь его потери – особый страх. В убежище среди ящиков мысль об этом не оставляла меня ни на минуту. Возвращаясь из убежища, я каждый раз боялся застать в цехе грозу. Но не всегда она раздражалась из-за меня.

Инга и Кристин тоже делали самовольные перерывы в работе. Снимали клеенчатые фартуки, вешали их в шкафчик, вытирали мокрые от щелочной воды руки, гасили на машинах свет и отправлялись в уборную. И то, как неторопливо вытирали тряпками голые по локоть руки, как откатывали рукава кофточек, как шли мимо полицаю к дверям туалета, как иногда останавливались на полдороге и кричали Христе: «Кристин!» – замечали все в цехе.

Инга и Кристин были хорошими работницами. Они выкраивали себе перерыв, а не брали его, как я, и потому чувствовали себя хозяевами своего времени.

Это был не то чтобы узаконенный, а привычный перерыв. Возражать Альфред мог только против того, что женщины коллективно покидали рабочие места. Но, когда он об этом заговаривал, видно было, что тема для него деликатна, а Инга, Кристин и Христя этого нисколько не боятся.

Однако с того момента, как под часами в цеховом проходе стал клозетный полицаю, в самовольном перерыве, который позволяли себе Инга и Кристин, появился вызов. Он усиливался, когда полицаю повадился в женский туалет. Я видел, как краснел Альфред, когда Инга проходила мимо. Она обходилась без слов, если он ругал ее, но, кажется, это еще больше раздражало его. Уклонявшийся от работы при малейшей возможности, я вообще поражаюсь непрерывным спорам Альфреда с Ингой и Кристин. Лучших работниц в цехе у него не было. К тому же у полной и крупной Кристин было лицо человека, легко прощающего и забывающего обиды. Еще была в ней приятная беззлобная непонятливость. Точно не сразу решала, в ту сторону идти или в другую, с этой стороны крикнули или с той. И рукава на полных руках закатывала, будто не для фабричной, а для кухонной работы.

Трудно мне было разобраться, но, может, Альфреда в Инге раздражало чувство превосходства, которое каким-то образом связывалось с ее утренними синяками под глазами, а в Кристин то, что она словно не жила в мире, где надо очень быстро ориентироваться.

Несколько раз я видел, как он отчитывал их. Инга слушала все с тем же видом превосходства, который заставлял Альфреда напрягаться. А на пухлогубом лице Кристин нельзя было определить выражения. Она просто ждала, когда он закончит.

Клозетный полицаю все-таки вызвал всеобщее возбуждение. Хотя он как будто бы стоял для того, чтобы выгонять из уборной русских и других иностранцев, Инга и Кристин сразу же почувствовали желание доказать, что их это не касается. Звали с собой Христю – убеждались, что их покровительство чего-то стоит. Мимо полицаю беззлобная Кристин проходила вызывающе виляя бедрами. Если она забывала снять свой клеенчатый фартук, было особенно заметно, какая она полная женщина.

Но скоро вызову пришел конец. Как-то выждав несколько минут, полицаю двинулся за ними. Потом из-за дверей туалета показались возмущенная Кристин, веселящаяся Христя и спокойная Инга. Некоторое время нельзя было понять, кто кого конвоирует, женщины полицаю или он их.

Цеховой шум не давал услышать, что там говорилось. Но рот у Кристины был открыт так, будто она изумлялась: «О-о!» Казалось все-таки, что это женщины тащат полицаю к мастеру на расправу.

Несколько острых мгновений и я ждал справедливости. Эти мгновения мне уже приходилось переживать, я знал им цену. Но каждый раз почему-то надеялся, что безграничная несправедливость сама себя где-то ограничит. К тому же случай особый. Не иностранок, а немок полицаю оскорбил на глазах всей фабрики. Альфреду с его сдержанностью и склонностью к назидательности это должно было претить. Да и сам толстый усатый боров должен был быть ему противен.

Он приближался к Альфреду, и простым глазом было видно, какие они разные.

Женщины и полицаю вошли в решетчатую конторку. Там начался крик, который

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
постепенно был перекрыт скрипучим голосом Альфреда. Отчитывая женщин, Альфред багровел, как полицаи.

– Немецкие женщины!.. – кричала на него Кристина.

– Немецкие женщины!.. – отвечал ей Альфред.

Инга высокомерно молчала. Христя пряталась за их спинами. Так они и пошли из конторки. И еще долго Кристина изумленно произносила: «О-о!»

Вскоре после этого Альфред отделался от меня, как от плохого рабочего. Новые события и переживания вытеснили из памяти цех, в котором я недолго возил тачку. Лишь иногда мне вспоминалось ужасное лицо мастера и неясное чувство благодарности, которую он вызывал своей сдержанностью. Но историю с клозетным полицаем и изумленное «О-о!» Кристины, которая как бы на секунду почувствовала себя русской на этой фабрике, я не забывал никогда. Немки и Христя были единственными женщинами, рядом с которыми мне пришлось работать. Инга и Кристина редко обращали на меня внимание. Но мне это и не нужно было. Если они заговаривали со мной, я сразу попадал в слишком освещенное пространство. Подходивший к крайнему истощению, я мог оценить прилежание, с которым работали эти две здоровые женщины. И был поражен, когда Альфред и полицаи устроили на них охоту. Безграничная несправедливость была тех, кто был ей полезен, и смыкалась, казалось мне, с крайней глупостью. Последовательность, угадывавшаяся во всем этом, была ужасной, как эмблема, на которую было похоже лицо мастера.

И еще, эта история запомнилась мне потому, что Христя была из тех женщин, которых знал весь лагерь. Она и познакомила Стасика с той самой Соней, к которой он шел на свидание.

11

Вернулся со свидания Стасик загоревшим и как будто переболевшим. В воскресный день они с подружкой убегали из лагеря, прятались где-то на пустыре. Глаза его тарасились нестерпимо. Был в них голодный и еще какой-то блеск. Стасик не курил, но у кого-то схватил окурочек и стал мусолить неумелыми мокрыми губами. Его сжигало возбуждение.

Подшли Блатыга, Сметана и вся компания. Впервые в жизни Стасик пытался совладать со своим глупым, громким голосом. Но возбуждение мешало рассказывать. Вначале это были обычные «блатные» междометия. То ли угрозы, то ли победные выкрики, то ли удивление, что все произошло именно с ним.

Компания сочувственно прислушивалась к привычным ругательствам.

Постепенно в голосе Стасика снова появилась громкость, он стал кричать, как всегда. Только оставался переболевшим и не исчезал из глаз блеск, который, казалось, изменил их выражение навсегда.

Запавшие щеки, голодный загар, болезнь в глазах говорили о том, что со Стасиком произошло нечто невероятно важное. О том же говорило его возбуждение. Но напрасно я ждал в словах Стасика соответствия тому, что с ним произошло. Свои блатные слова он выкрикивал, будто вернулся с нежданно победной драки и теперь жалел, что кого-то ударил не так, и обещал в следующий раз маху не дать.

Послушать, так он кого-то заманил, обманул и обобрал. И никакой жалости и благодарности! Только торжество после пережитого страха.

«Не о том говоришь!» – хотелось крикнуть ему.

Он был дурак, но не злодей же! Да и блатным его нельзя было считать. Это блатные говорят то, что положено, а не то, что чувствуют. А тут помимо обычного блатного предательства было покушение на какую-то главную надежду.

Да и не к этому Стасик готовился, когда шел на свидание. И не об этом говорили его переболевшие глаза.

– Забожись! – сказал Сметана.

Кажется, этого Стасик боялся больше всего.

– При ней скажешь?

– Да я!..

Больше всего Стасик опасался, что его невероятной удаче не поверят другие. Он шел сюда с этим страхом. И теперь припоминал новые подробности и все хуже говорил о Соне, будто именно это должно было убедить Блатыгу и Сметану в его правдивости.

– Ну, сука! – кричал и тарачился он, показывая, как разговаривал с Соней.

У Блатыги лицо было выжидающим, у Сметаны – прицеливающимся. Кивком, сочувственной усмешкой, дружелюбным ругательством они могли показать всем, что разделяют чувства Стасика и тем самым признают его рассказ правдивым. Но они не делали этого. Сомневались они не в словах Стасика. Дело было в другом. Поверить Стасику – признать за ним какое-то преимущество. А этого они не хотели.

Их недоверие ожесточило Стасика против Сони. Теперь ему нужно было еще больше слушателей. Его возбуждение искало выход. Из дружеских чувств компании он отказывался от удачи, которой ни у Блатыги, ни у Сметаны не было. Никто не сомневался, что в женских бараках узнают о его рассказах. Но он шел на это, добиваясь, чтобы ему поверили. И, когда он повел себя как последний дурак, Блатыга кивнул, а Сметана засмеялся:

– Учти, – сказал он Стасику, – скажешь при ней.

Они обобрали его и успокоились.

Стасик еще два дня праздновал свою удачу. А когда его крики и рассказы всем надоели, он перехватил Соню по дороге из кухонного барака. Она вздрогнула, и я понял, что ей уже все известно, но она еще надеется.

– Что! – тарачась и бледнея, словно сам попал в ловушку, закричал Стасик, – Хочешь еще?! Тебе мало?! Мало?!

Она молча попятилась, потом быстро обошла его. Он еще кричал ей вслед, кривляясь и оглядываясь на Блатыгу и Сметану. Но они стояли с равнодушными лицами.

Стасик жертвовал собой ради них, ради всей компании. Но теперь он был обобран до нитки. А самопожертвование тут ничего не стоило. И Стасику это еще предстояло узнать.

Если в дело замешаны блатные, то, как бы оно ни начиналось, все равно оканчивалось злом. Но поражало даже не само зло, а то, что ругательства и угрозы никто вначале не мог принять за намерения, настолько даже опытным людям здесь не хватало смысла. Фокус был в том, что смысл, превращавший бессмысленные ругательства в намерения, был тут только для самих блатных. Но там, где они его находили, нормальным людям просто в голову не приходило бы его искать. Того, над кем почему-либо нельзя было возобладать, надо было постараться сделать хуже себя. Это и было разыграно со Стасиком. Казалось, Блатыгу и Сметану вел инстинкт. Но к сделанному они относились сознательно. Когда через пару недель Стасик подошел к Блатыге и Сметане, мирно разговаривавшим с Соней, Блатыга лениво усмехнулся, а Сметана спросил:

– Чего тарачишься? Звали?

Историю со Стасиком они использовали по-своему. Стасика сделали «дурнее себя». Теперь пришло время защищать Соню от него. То, что Стасик так прямо истолковал и принял их подначки и ругательства, их не касалось. Когда Стасик в отчаянии сказал Блатыге: «Ты же говорил!..» – Колька несколько секунд не давал своему возмущению вылиться в нечто сокрушительное для Стасика, а потом неожиданно согласился:

– Говорил.

– Так как же? – растерялся Стасик.

– А у тебя своя голова есть?

И Стасик почувствовал, что погиб, что он это предчувствовал и ничего хуже Блатыга ему сказать не мог.

Ровесники, мы все переживали период заворуженности словом. Видели, что между словом и делом есть разрыв, и думали, что с возмужанием он будет преодолен.

– Отвечаешь?! – ловили мы друг друга на слишком пылких клятвах, угрозах, обещаниях потому, что это был еще и период слишком пылких клятв, угроз, обещаний. То есть отвечаешь ли делом за слово. Вынуждали проговорившегося выполнить нечаянно брошенное обещание, но одновременно давали ему возможность отступить от него. Каждый по себе знал, какие тут бывают трудности.

Трудности, однако, казалось, шли из детства. С возрастом они должны были быть преодолены. Поэтому каждое слово, не соединившееся с действием, не забывалось, откладывалось огорчением.

Конечно, можно было не обещать, не клясться, не угрожать. Но сдержанность требовала больших сил, чем пылкость. Нас всегда можно было поймать: «Отвечаешь?!» Только у блатных, казалось, из принципа самое нелепое слово связывалось с делом. Это было страшновато и завидно, и, может быть, больше всего притягивало к Блатыге и Сметане ребят.

Стасик на этом и поймался.

Блатные прекрасные учителя. Уроки, которые они дают, никогда не забываются. Дело даже не в жестокости. Попавший к блатным видит, чувствует, как его готовят в дураки, но, повязанный словом, ничего не может сделать. А над ним потом смеются: «Своя голова есть?!»

У Стасика своей головы не оказалось. Это не удивило меня. Со многими такое случалось, когда они сталкивались с блатными. Удивляло озлобление и напряжение, которым не должна была закончиться любовная история. Удивляло, что Соня с самого начала не разглядела в Стасике того, что в нем было видно с первого взгляда, с одного сказанного с ним слова. Я всегда думал, что женщины лучше и проницательнее нас. Они были добрее к нам, чем мы к ним. Они добровольно пошли ухаживать за тифозными. Среди них не было приблатненных, они не дрались между собой, как мы. С мыслями о них связывались такие важные надежды. От Стасика я ждал какого-то подтверждения этих надежд. Но его крики скорее закрывали все надежды. И нечего было возразить! Стасик побывал на любовном свидании, а я – нет. И только переболевшие глаза его противоречили крикам и рассказам.

Так закончилась эта единственная известная мне любовная история, которую лагерь пережил до освобождения. Другие любовные истории если и случались, то не с моими сверстниками, которые таких тайн не умели хранить. Да и невозможно было спрятать что-либо на глазах у сотен людей.

Большинство барачных секретов рано или поздно выплывало наружу. Известны были люди, укравшие картошку, известны шкафчики, в которых она хранится. Известны игроки в карты, симулянты, с помощью членовредительства уклоняющиеся от работы. Известны сами способы членовредительства. Когда я решил перейти на положение кранка, мне были даны подробные инструкции. Я даже узнал, где взять электролитной кислоты, чтобы сделать себе ожог, и, когда заглянул в цех, где ремонтировались электрокары и заряжались их батареи, работавший там русский с полным пониманием отлил мне в склянку кислоты. А потом в течение почти полутора месяцев я приходил на перевязку к швестер Матильде, и она ставила в моей рабочей карточке красный штампик «кранк».

– Юма, юма! – качала она головой, ледяными стерильными пальцами ощупывая припухлости вокруг раны. Ожог был во всю тыльную часть левой кисти. К швестер Матильде ходили несколько человек, сжегших себе кислотой именно тыльную часть левой руки.

– Найди себе другое место, – говорили мне. – Завалишься и нас засыпешь.

Но, чтобы получить освобождение, надо было обжечь руку или ногу, и в самом рабочем месте. Выбор невелик, я так ничего и не придумал. К тому же с ожогом я

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
перестарался. Кожа под тряпкой, вымоченной кислотой, почернела, обуглилась. Показывать этот угольный ожог было нельзя, трудно объяснить его происхождение. Но и работать я не мог. Горела голова, рука болела. Как температурный больной, я в первый раз и получил больничное освобождение. В рабочей карточке появилось три заветных красных штампика, означавших, что три дня я могу не подниматься со всеми при криках: «Ауфштеен!» Придя в барак, я взял заранее приготовленный кусок резины, наложил на рану и плотно перевязал тряпкой. Дня через два без доступа воздуха обуглившаяся корка отгнила, отпала и образовалась та самая рана, которую, покачивая головой, рассматривала швестер Матильда. Укоризненное: «Юма, юма!» – я переводил для себя как сокращенное от «юнга», «юноша». И относилось оно к размерам и состоянию раны. На швестер был белый халат, белая косынка, медпункт был фабричным, а не лагерным. Тут были чистота, кафель и стекло. Фабричное звяканье, вибрация и шум, доносившиеся несмотря на отдаление, говорили о том, что мне грозит, если рану сочтут недостаточно опасной.

Решение, конечно, зависело от врача, но я всматривался в Матильду, прислушивался, с какой силой придавливают ее пальцы мою руку. Врачи менялись, а швестер при каждом новом враче оставалась неизменной. Неизменными были ее удобка, стерильность, решительность, с которой она срывала с ран присохшие бинты. Матильда словно не с нами имела дело, а с нашими ожогами, ранами, ушибами. Ее нельзя было назвать доброжелательной, но и недоброжелательности за ней не замечали. Только, может, слишком быстро отворачивалась от нас, когда рана была обработана, и слишком громким был ее мужской голос, когда мы надеялись на доверительность.

Однако, судя по некоторой осторожности пальцев, мою рану швестер находила достаточно серьезной. Она позвала врача и, когда тот взглянул из-за ее спины, сказала:

– Совсем без руки можешь остаться! Понимаешь?

Это было понятно и без перевода.

– Где работаешь? – спросил врач.

– В механическом цехе.

– Откуда ожог?

Этого вопроса я и боялся. Ненадежность истории о том, как я попал в литейный цех, в котором недавно работал, и как там мне на руку упал раскаленный металл, я сам понимал прекрасно. Не на историю я надеялся, а на то, что обойдется вовсе без вопросов. У других обходилось. Но правы были те, кто предупреждал, чтобы я придумал себе что-нибудь другое. Лицо врача не менялось, когда он выслушивал мои объяснения. И, когда, не задав больше вопроса, он отвернулся, я так и не понял, поверил он или не поверил, обошлось или не обошлось. Руку мне перевязали, в карточке появилось три новых красных штампа, полицай отвел нас в барак, а часа через два меня позвали к коменданту. И я понял, что не обошлось.

Кабинет коменданта тоже чем-то напоминал медпункт. Солнечный свет проникал сквозь стерильную белую занавеску, закрывавшую нижнюю половину окна. И вообще здесь была та же стерильность. Стерильность стульев, стола, шкафчика со стеклянной дверцей, чисто вымытых рук коменданта, новеньких шелковых чулок его переводчицы. И, хотя от наших барачков было всего несколько шагов, это был мир дневного света, вольных поз, комнатного пространства, не вытесненного и не перегороженного двухэтажными койками. Судя по шелковым чулкам переводчицы, кому-то из русских тоже был сюда вход. Бог знает сколько времени я не видел шелковых чулок. Должно быть, столько же времени не замечал, чтобы русские девушки полнели. Я не поднимал глаза, потому что эта девушка, которую звали Светлана, в мыслях и мечтах моих давно занимала много места.

Мы с ней редко виделись, еще реже разговаривали, но и в эшелоне, где со мной заговорила ее мать, и в пересыльном, где мы подходили к проволоке, чтобы крикнуть друг другу, и здесь, на фабрике, у нас были общие несчастья. Но вот, пока я рыл подземелье, работал в литейном, пытался с помощью Костика обжечь о раскаленный бок печи ту же самую руку, которую теперь сжег кислотой, Светлана оказалась в кабинете коменданта, и ногти на ее руке блеснули лаком, когда она потянулась за сигаретой. До войны я знал только двух курящих женщин. Это были

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

наши дальние родственницы. Я всегда ждал, когда они сомнут по-мужски мундштук папиросы и, деликатно отвернувшись в сторону, зажгут спичку. На это хотелось еще и еще раз взглянуть. Курящая женщина была чем-то вроде женщины-шофера. Шелковые чулки, из-за которых ноги казались пополневшими, и сигарета, за которой потянулась Светлана, произвели на меня одинаковое впечатление. К тому же потянулась она к сигаретам коменданта, а я знал, что немцы на фабрике табаком не делятся не только с иностранцами, но и друг с другом. И, когда комендант, опередив ее, взял со стола пачку, я подумал, что он отбирает сигареты. Но он протянул ей открытую пачку и поднес зажигалку.

И, пока все это происходило, пока я переступил порог и сделал еще шаг в комнату, я думал, как они сблизилась друг с другом. Не только она с ним, но и он с ней. Как выделил из нескольких сот русских женщин и девушек, как увидел в ней то, что я не видел. Немецкий знала она плохо. Это сейчас и должно было обнаружиться и обнаружить то, во что не хотелось верить и что ей стыдно было бы мне показать. Я даже надеялся, что она свободно заговорит по-немецки и будет понятно, почему она в шелковых чулках и почему так свободно потянулась за сигаретой.

– Данке шен, – сказала она коменданту.

Она спасала от каторжной работы не только себя, но и свою мать. Это можно было понять, но это и ужасало меня. Едва переступив порог, я почувствовал: не избежать позора. Ничего особенного я не говорил ее матери или ей, но все, что говорил, теперь оказалось невпадом. И место в моих мечтах она занимала невпадом. Это сразу ударило в голову. А то, что в мыслях рядом с ней я отводил себе, теперь принадлежало лагерному коменданту.

В новом платье она сидела за небольшим столиком коменданта. А он в белой рубашке без пиджака на стуле у стены. И то, что они так вольно поменялись местами, было особенно неприятно.

Ни на мгновение я не забывал, зачем меня вызвали, но и страх, что они догадаются о моих мыслях, не оставлял меня. К этому прибавлялись сомнения, показывать коменданту, что мы знакомы, или нет, здороваться с ней или не надо.

Был и совсем глупый страх. Вдруг ей меня первого переводить, и я буду невольным виновником того, что она провалится и ее отправят на фабрику. Какие-то сомнения одолевали и ее, и комендант спросил:

– Знакомы?

– Да, – кивнула она. – Из одного города.

В том, как она подбирала немецкие слова, не было свободы. Но больше перед предстоящим разговором меня напугала пронизательность коменданта. На секунду он словно отстранился, давая нам возможность поговорить. Я спросил:

– Давно ты?

– Уже два месяца, – сказала она.

– Довольна?

– Очень культурный человек.

Я замолчал. И комендант сразу же быстро заговорил. И в звучности и гибкости его голоса было, казалось, нечто подтверждающее слова Светланы о нем. Это было и в его рубашке, и в том, как он перехватил сигареты, чтобы подать ей, и в атмосфере прерванного разговора, которую я застал, перешагнув порог комнаты. Она не сразу истаяла, и я подумал, что Светлана хорошо понимает коменданта, если так оживлена и раскраснелась. Это оживление, атмосфера прерванного разговора были мне неприятней, чем новое платье и шелковые чулки. Но она же давала надежду, что Светлана научилась немецкому языку.

– Господин комендант спрашивает, – сказала она, – как ты обжег руку?

И я, почему-то решив, что здесь не годится история, которую я рассказал врачу в медпункте, сказал, что хотел сварить картошку на газовых горелках, которыми

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
перед заливкой разогревают фаны. Пустил газ, чиркнул спичкой, и вот...

Проницательности коменданта я делал уступку – картошка могла быть только ворованной.

– Картофель кохен, – сказала Светлана.

Это не было переводом. Так в лагере сказал бы каждый.

Комендант ответил длинной фразой, и я подумал, как же они разговаривали перед моим приходом и на что он рассчитывает, предлагая ей перевести так много слов.

– Как обжег руку? – перевела Светлана.

Тогда я сам попытался объяснить. Показал, как держал в левой руке спичку, как запоздал чиркнуть ею, и газ накопился. Я не левша, и все выглядело не очень правдоподобно. Со страхом я чувствовал, что после каждого его вопроса количество неправдоподобного будет накапливаться, пока не погубит меня.

– Господин комендант говорит, что ты уже не работаешь в литейном цеху. Что ты там делал и откуда у тебя картошка?

– Товарищ дал, – сказал я, отчаянно увеличивая количество опасной неправды.

– Камрад, – перевела Светлана.

Я услышал крепнувший от раздражения голос коменданта:

– Какой камрад?

– Из литейного цеха, – сказал я, – не знаю, как зовут.

Светлана переводила «не знает», «литейный», а я надеялся, что ей станет страшно за меня, она скажет что-то вроде «он болен», «истощен» или «я его давно знаю». Но она вторила коменданту. Слова она перевести не могла – переводила мимику, интонацию. Это было особое переводческое щегольство. Вначале я невольно на нее рассчитывал, хотел все объяснить и попросить совета, но вовремя удержался.

– Господин комендант, – сказала она, – говорит, что у многих русских ожоги на руках и ногах. Он спрашивает, откуда так много ожогов?

– Не знаю, – сказал я, – У меня освобождение из-за температуры, а не из-за ожога.

– Температур, – перевела Светлана, и я почувствовал, что впервые соврал удачно.

– Какая температура? – спросил комендант.

Я сказал, что около тридцати девяти, и почувствовал, что вынырываю, что, кажется, на этот раз обошлось, комендант, который до этого сидел, все более наклоняясь вперед, словно готовясь вскочить, откинулся на стуле назад. Повторяя его движение, Светлана закинула ногу за ногу, и я воочию увидел, как поползли ее ноги. И тесный шелк, и обнажившаяся полнота, и забытая поза, в которой я давно не видел ни одной русской женщины, всё было незнакомым, как оживление после разговора, который я прервал своим появлением. Никакого оживления не могло быть – для этого они слишком плохо понимали друг друга.

Светлана была года на три старше меня. Девчонкам в нашем классе классная руководительница делала замечание, если они садились, закинув ногу за ногу. Среди маминых знакомых, закинув ногу за ногу, садились обычно курящие родственницы. Об этом говорилось с таким же выражением, как и о том, что они курят. Поза Светланы показалась мне такой же вызывающей, как и сигареты и шелковые чулки. Все было не свое, как и должность переводчицы. Сменится комендант или ему надоест ее плохой немецкий язык, и ее тотчас отправят на фабрику. Ожог тогда останется у нее от шелковых чулок.

Но самым безнадежным было то, что она не одна, а с матерью. Позор не делился на двоих, а стократно усиливался тем, что был семейным. О старшине Гришке можно

Плотина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru

было думать, что где-то у него добрая жена, мать или дети. Он их позорит, но тут нет безнадежности, потому что они ни при чем и за него не отвечают. О нем легче было думать, чем о Светлане и ее матери. Однако до всего этого мне не было бы никакого дела, если бы Светланин позор какой-то стороной не задевал меня. Это было первое, что я почувствовал, увидев ее за комендантским столиком. словно мне рассказали, что я во сне или в беспамятстве совершил что-то непоправимое. Или стал сообщником совершившего непоправимое. Мысли мои о Светлане никогда не были серьезны. Так же мечтательно, как о ней, я мог думать о других взрослых женщинах. Мне было бы стыдно, если бы они догадались, как я думаю о них. Но если бы об этом догадался Костик, стыдно не было бы. А тут я заледенел от страха, что кто-то в мужских бараках узнает о моих мыслях о Светлане. Коменданта и врача я боялся больше, но только потому, что разоблачения, которыми грозили они, были ближе.

– Господин комендант, – сказала Светлана, – отпускает тебя. Он говорит, чтобы ты шел в барак, быстрее выздоравливал и возвращался на фабрику.

Не глядя на меня, комендант кивал в такт ее словам. Потом коротко взглянул и, как бы закрепляя и подтверждая то, что сказала Светлана, спросил:

– Ну?

Я кивнул. Словечко было понятно и без перевода. Оно означало примерно: «Не так ли?»

Он отпустил меня не из-за ловкости моих ответов. Они казались мне такими неправдоподобными, что я ждал взрыва каждую секунду. Больше всего боялся быть избитым на глазах Светланы. Но, может, он не захотел бить именно на ее глазах. Может, запутался в плохом переводе или испугался заразности моей болезни. Блатыга отмахнулся бы: «Обошлось!» Я мог быть доволен собой. Лагерные уроки я усваивал – тянуть надо до последнего.

И не нужно доискиваться, почему обошлось. Надо отдыхать от страха. Потому что здесь страхи не отпускают тебя, а только перегруппировываются. Станешь искать – до настоящего страха докопаешься.

Я шел в барак и боялся, что кто-нибудь дознается о моих мыслях о Светлане. И через много лет этот страх не кажется мне смешным. Не было мыслей, которыми я не делился бы с Костилом. И, если меня посещали «нечистые» мысли, делился и ими. Мысль являлась сама. Тут было много удивительного. Она приходила ко мне, но от меня как бы не зависела. Значит, и принадлежала не только мне.

Другими словами, я проговаривался и раскаивался в этом потому, что Костик высмеивал меня.

Узнавая мои мысли, он получал власть надо мной. Проговорившись, я тут же просил: «Никому не говори!» Он посмеивался: «Ладно!» Или дразнил: «Скажу!» Только в этот момент я понимал, что мысль – мое продолжение. Тут было противоречие, с которым я не справлялся. Мысль являлась незваной. Я не ждал ее, не добивался, чтобы она пришла. Она могла прийти в очереди к Гришкиному раздаточному окну, на работе, во сне – в самый неподходящий момент. И в первую секунду радовала, удивляла или поражала меня. Меньше всего в это время я думал, что отвечаю за нее. И только в тот момент, когда делился ею с Костилом, понимал, что отвечаю за нее так, как если бы она была моим продолжением.

То, что я думал о Светлане, на что надеялся, и было моим продолжением.

К тому времени я уже мучился тем, что совершенно не защищен от нечистых мыслей. И наказывал себя тем, что рассказывал о них Костику. Я, конечно, не мог заранее определить, какие мысли нечистые. Но, когда они являлись, я по страху, что о них догадаются другие, сразу их узнавал.

Со страхом и неприязнью к себе я заметил, что мне не по силам поступки, которые полностью соответствовали бы моим же мыслям и чувствам. Ярость и ненависть слишком часто подводили меня к самому главному, чтобы я мог этого не заметить. Я упустил десятки случаев достойно погибнуть и, значит, жил недостойной жизнью. Ни малейших сомнений в этом у меня не было. Я был обязан убить фюарбайтера Пауля, но удерживался, хотя не ярость это уже была, а наваждение. словно ждал еще

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
большей ярости и большего наваждения. И не для того, чтобы вернее направить их против Пауля, чтобы самому легче было умереть.

Мысль о гибели была мне известна в самых разных оттенках.

Чтобы выжить, не надо ставить себе цели. Я пытался справиться с инстинктом самосохранения.

Не имело значения то, что ночами я еще звал маму и плакал от жалости к себе. Слезы не залечивали ран, которые я получал днем.

Ужас состоял в том, что днем происходило то, чего не могло быть, а я не мог признать это тем, что есть и может быть. С этой болью нельзя было жить. Ярость была только наиболее яркой вспышкой этой боли. Против лагерных и фабричных полицаев она была бессильна, но давала надежду победить страх. Не сладость мести представлялась мне, а сладость освобождения от боли.

То, что другим было не лучше, чем мне, ничего не меняло. Боль была такой силы, что от нее нельзя было отвлечься. К тому же я не знал, что испытывали другие. Костик смеялся, когда я предлагал ему вместе бежать: «Как ты дорогу домой найдешь? По шпалам?»

Когда я боролся с желанием ударить Пауля киркой, я боролся с наваждением отделаться от боли. Удерживал меня страх темноты. Я ждал, что боль вот-вот его пересилит.

Ужас состоял еще и в том, что боль не была бессловесной. И самые страшные слова не надо было произносить, потому что они были обращены к самому себе.

Такую боль нельзя перетерпеть или занячь. Когда отливала ярость, я не испытывал облегчения, потому что приходило чувство вины.

Только что я боялся, что комендант и Светлана догадаются, как я обжег руку, отвлекался страхами и помельче, а главная боль не отступала ни на секунду. Как голод, она накопилась в мышцах и мозгу, текла по сосудам. Излечиться от нее можно было, только убив коменданта, полицаев или Пауля. Это была единственная чистая мысль. Все остальные были нечистыми.

Никакого значения не имело то, что я сам изуродовал себе руку и избавился от работы. Надо было решиться, чтобы причинить себе даже такую боль. С теми, кто на это не шел, я не стал бы приbedняться. Но сам-то знал, что это мелкая уступка тому, на что действительно надо набраться сил.

Как рассказать о том, как почти ничего не знающий о таких болезнях подросток заболевает ненавистью, как поражается тому, что от нее нет отдыха и что самый жестокий приступ может настичь, например, за баландой, когда ненависть смешивается со слезами и жалостью к себе?

На что же рассчитывали те, кто не просто возбуждал в нас ненависть, а доводил ее до болезни и заботился о том, чтобы болезнь не ослабевала!

Однако нечистыми были не только те душевные движения, которые вызывались страхом полной темноты и помогали выжить в невозможных условиях. Нечистым был интерес к Матильде и Светлане. Нечистой – симпатия к Альфреду. И вообще все то, от чего бы я охотно, избавился, не пустил бы в свои мысли. Но отвернуться от интереса к Матильде или Светлане, к Инге или Христе было так же трудно, как истребить в себе страх темноты.

И вообще оказывалось, что справиться с мыслями, которые я не звал, а потом долго отталкивал, не легче, чем преодолеть каторжную усталость или восторжествовать над голодом.

Нечистой была мысль, у которой не хватало силы заявить о своем появлении. Это было главным...

В бараке меня ждали кранки.

– Ну что? – спросили меня.

Я рассказал, и все вздохнули с облегчением. Здесь тоже не заглядывали далеко. Пронесло – и слава богу. О Светлане и не спросили. Ее никто и не знал.

В комнате кранков стоял сладковатый запах гниющей плоти. Сутки я не трогал повязку, которую наложила Матильда. Потом размотал бинт, снял марлю с мазью, а рану накрыл резиной. У всех таких кранков, как я, под бинтом была резина, а не марля с мазью. Под резиной рана не заживала. От этого и шел сильный запах гниения. Марлю с мазью возвращали на место, когда отправлялись на перевязку.

Гниющие раны – еще одна тайна, о которой знали многие.

12

В день освобождения вечером военнопленные позвали девушек за праздничный стол. Вспомнили, когда хлеб был нарезан, побежали в женский барак, кого-то привели, тут же познакомились. То есть все знали друг друга. Виделись на фабрике, в колонне, но все-таки познакомились в первый раз.

Соседка сказала:

– Тебя зовут Сергей.

Меня сжигали возбуждение и азарт этого дня, тревожила темнота за окнами барака, тревожила поллитровая кружка с ромом, которая по кругу приближалась ко мне. Я хотел рассказать Ванюше, как отбил от немцев, когда катил в лагерь добытую на фабрике пищевых концентратов бочку со смальцем, и не запомнил, как зовут соседку.

Стоя, как делали все, принял кружку и, выдохнув воздух, спешно пошел на улицу, чувствуя, что барачный пол с неприятной скоростью стал наклоняться. Но и проваливаясь с порога, испытывал недоверие к лагерной темноте. Слишком многое в ней накопилось, чтобы даже такое опьянение могло погасить тревогу.

А утром со страхом и стыдом узнал, что ночью в женском бараке побывали пьяные американцы. Ощущение было, как после разговора со Светланой, будто я во сне совершил что-то непоправимое. Недаром полицаи грозили: «Освобождения вам не будет!»

Солдаты знают или догадываются, за что с них не взыщут. Вот чем это обожгло. Их было человек десять, да и голландец не прятался. Не боялся быть узнанным.

Мы навидались насильников, не боявшихся, что их завтра узнают, и знали, что это означает. Это значило, что завтрашнего дня надо бояться нам.

А ведь ничто, казалось, не предвещало этого налета. Вчера американская танковая разведка оставила нашим раненым двух санитаров. До подхода моточасти они провели в лагере несколько часов. Правда, и танкисты, и солдаты на «джипах» не проявляли особого радушия. Но ведь они ехали туда, где стреляют. И хотя холодок, идущий от вооруженных людей, замечается и запоминается, мы могли его понять. Нам не мешали толпиться вокруг открытых машин, удивляться белым пятиконечным звездам на дверцах, ветровым стеклам, откинутым на капот, тому, что из-за одинаковой формы нельзя понять, кто офицер; что солдатские каски как две капли воды похожи на наши, но самих касок две: металлическая и пластмассовая. И не поймешь, легкая нижняя каска на солдате или тяжелая верхняя.

Это были враги наших врагов. Нам не хватало ответа на наше ликование, радости одинакового понимания смысла войны. Но ведь нас самих и нашу войну они знали слишком мало. Достаточно было того, что с их приходом открылись лагерные ворота.

Конечно, нам пришло в голову, что ночью в лагере побывали американские блатяги и сметаны. Но слишком много угроз шло от недавнего прошлого, слишком густо было растворено в воздухе насилие и слишком много мы в нем знали, чтобы забыть другие возможные его причины.

На следующую ночь девушки выносили матрацы на улицу. Прятались и на третью ночь, не хотели ночевать в бараках. Не спали и мы.

Лицо у Костика было осунувшимся и загадочным, когда он спросил меня:

– Соньку знаешь?

– Да.

– Предлагала ночью лечь с ней.

– Сама?!

– «Будешь делать что хочешь...» – усмехнулся Костик. – Говорит, американцы не трогали тех, с кем на койке был парень. – И Костик повторил заставившие его осунуться слова: – «Будешь делать что хочешь, только ляг со мной».

– А ты?

Костик стал еще более осунувшимся и загадочным.

– Зачем она мне нужна? Стасик ее позорил...

Я понял его смущение. Он не решился принять предложение, которое никогда не повторится, потому что не повторятся эти события.

Мое сердце ухнуло. Предложили Костику – могут предложить и мне. Никто, однако, не предлагал.

Следующие две или три ночи прошли тревожно. Но никто нас не трогал. Надо было привыкнуть к мысли, что и у американцев есть солдаты с уголовными наклонностями. Однако, когда в лагерь вдруг явился комендант, мы это невольно связали с ночным налетом. Нам труднее было поверить, что он просто выполнял американский приказ: «Всем явиться к месту работы».

Ночные дела правдивее дневных – вот о чем говорит наш опыт. Мы не сразу растерзали коменданта и даже помедлили, прежде чем его схватить. А когда американцы приехали его выручать, мы опять подумали о ночном налете.

И, когда нас из городского лагеря перевели на гору, в бараке бывшей эсэсовской охраны радиостанции, мы опять думали с опасением: удаляя от города, не готовят ли нас к новой, куда более суровой ночи? Мы ведь знали, что может быть. Нет ничего, о чем с уверенностью можно было бы сказать: этого не будет просто потому, что не может быть.

Опасения тенью шли за опьянением свободой. И усиливали жажду расплаты, желание расквитаться, которое куда-то отодвинулось, пока у нас перед нашей совестью возникали новые долги.

– Ты когда-то работал в кранкенхаузе, – сказал мне Ванюша. – Дорогу знаешь?

От волнения, нетерпения и неуверенности у меня сразу пересохло во рту.

– Да, – сказал я.

Чтобы задать свой вопрос, Ванюша вывел меня из барака. Сердце мое ударило: наконец-то! А неуверенность был потому, что в Ванюшином вопросе было условие. В кранкенхауз я ходил не сам, меня туда водили, и конечно же, дорогу я помнил смутно.

– В темноте найдешь? – спросил Ванюша и успокоил: – Ладно, будем соображать вместе. Вчетвером пойдем. Мне сказали, что в доме врача прячется доктор Леер.

Захватить Геринга, Геббельса, Гимmlера было мечтой тех дней. Зло в каждом из них было так сконцентрировано, что захвативший их разом решал множество своих проблем. Доктор Леер тоже был из каких-то гитлеровских начальников. Но надо было напрячь память, чтобы вспомнить из каких.

– Кажется, министр труда, – сказал Ванюша. До мечты это недотягивало. Но все равно было так прекрасно, что этого просто не могло быть.

– Министр или не министр, – сказал Ванюша, – прячется не прячется, узнаем. А

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
пока молчи себе знай. Никому ни слова.

Если вам нет восемнадцати и жалостливые слова блатной песенки «И никто не узнает, где могила моя...» трогают вас до глубины души, вам не расстаться с надеждой на какой-то случай, который все изменит. Я был слаб, жалостливые слова меня трогали, а надежда на какой-то поворот судьбы была со мной так давно, что я успел к ней присмотреться. Для дневных мыслей она не годилась. И я подумал, что никакого доктора Леера нет. Слухи разносят люди. Сколько же нужно людей, чтобы такой слух пришел к Ванюше, который даже не знает, как пройти к кранкенхаузу!

Но Ванюша что-то затевал, а я привык доверять Ванюше. К тому же, чтобы тебе не сказали «Боисься?», сомнения надо держать при себе.

И кто ж откажется от такого волнения! А вдруг на самом деле...

Конечно, можно сообщить американцам. Но мы-то тогда при чем! И неизвестно, как они поступят. Лагерфюрера они освободили. Может, и слухи так легко просачиваются, что доктор Леер не боится.

– Николай с нами, – сказал Ванюша, – и новичок один. А больше нельзя. Вчетвером и то заметно.

– Николай? – удивился я.

Ванюша засмеялся.

– Жена отпустила.

– А Петрович, Аркадий?

– Никто не хочет!

В рысьих глазах зажглись лампочки. Ванюша ждал, пока я переварю это «никто не хочет». Переваривать надо было не только то, что и у других оказались те же сомнения, что и у меня, но и главное, что не мне первому Ванюша делает это предложение. Он смотрел на меня, как бы испытывая меня ревностью. Потом усмехнулся.

– В кранкенхауз дорогу знаешь ты один.

Вызывая мое недовольство, Ванюша почти никогда не пытался его смягчить. «Решай как знаешь» – вот что в такие минуты говорили его глаза. А вспыхивавшие в них лампочки поддразнивали.

– Там все тихо надо делать, – сказал Ванюша, считая, что главные свои стадии моя ревность уже прошла. – Дом рядом с больницей. Из больничных окон свет на него падает.

– А если?..

– Я ж говорю: больница рядом, телефоны, комендатура.

13

Вышли из лагеря порознь. До темноты собрались у вокзала. Дорогу сюда знали все, и каждый мог прийти самостоятельно. Дальше должен был вести я. Однако в кранкенхауз меня водили из лагеря, а не от вокзала. А я помнил, как водили. То есть не то чтобы помнил, а надеялся, что, по мере того как будем проходить одну часть пути, я буду вспоминать другую.

По Ванюшину плану, к кранкенхаузу надо было подойти после полуночи, когда там все заснут. Комендантский час начинался в девять. Часов до одиннадцати надо было прятаться в привокзальных развалинах или на самом вокзале, который после девяти тоже переставал работать.

Часа два, прислушиваясь к тому, что делается на улице и в соседних купе, мы просидели в полуразбитом пассажирском вагоне, к которому нас привел Ванюша, а потом, не встретив патрулей и не слишком проплутав, подошли к тому месту, откуда дорога была уже ясна. Тут начиналась каменная лестница, выложенная по бокам

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
камнем-ракушечником. Такие неширокие декоративные лестницы с короткими маршами сооружаются в парках. Тут же было что-то вроде парка, который по скату холма поднимался к кранкенхаузу. Лестница переходила в аллею, которую я прекрасно помнил. Я здесь разравнивал граблями песок и мелкий ракушечник.

Стараясь не хрустеть ракушечником, мы подошли к больнице. Дальше повел Ванюша. Он вел так уверенно, будто недавно сам здесь побывал, а не знал это место по чьему-то описанию.

Свет из окна больницы на двухэтажный дом не падал. Да и не было его в больничных окнах. Зато во всех окнах двухэтажного дома горело праздничное электричество. При этом было видно, какой чистоты, плотности и прозрачности каждое стекло в окнах этого дома.

– Не спят! – поразился я.

– Может, не тот дом? – спросил Николай.

Словно сверившись с какими-то приметам, Ванюша сказал:

– Этот...

Пытаясь заглянуть в окно первого этажа, обошли вокруг дома. Окна были зашторены, и заглянуть не удавалось. Лишь кое-где сквозь щели в шторах можно было увидеть рисунок обоев на стенах, ножку стула или стола, часть паркета. Мы всматривались в щели, стараясь сквозь них уловить хоть какое-нибудь движение. Но в доме ничего не было видно или слышно.

– Подождем, пока погасят, – предложил Николай. И мы еще некоторое время выжидали и прислушивались. Ванюша посмотрел на часы.

– Без десяти два. Будем ждать, назад не успеем вернуться.

– Может, у них гости, – сказал Николай.

– Боятся, – сказал Ванюша. – Спят при свете.

Ванюша попробовал открыть окно, но, как и остальные, оно было плотно закрыто. Ванюша натянул рукав пиджака на сжатый кулак.

Я открываю окно, подсаживаю Сергея. Он сразу на второй этаж, а мы с Николаем осматриваем первый.

Кулаком, на который был натянут рукав, Ванюша ударил по стеклу. Раздался звон. Ванюша ударил еще раз, просунул руку внутрь, нащупал задвижку и открыл окно. По тому, как он сморщился, я понял, что он порезался, но меня подтолкнули, я оказался на подоконнике, спрыгнул на хрустнувшее под ногами стекло, смутно увидел перед собой пустую комнату, а сквозь открытую дверь лестницу на второй этаж, услышал за собой тяжелое дыхание Николая и побежал наверх.

Никто не крикнул, не спросил, что происходит. Комнату и лестницу освещали несильные лампочки. Внутри свет не казался таким праздничным, как снаружи. Но усилилось ощущение чужого богатого уклада, который на мгновение отразился в зеркальной глубине со всеми его обоями, черной деревянной лестницей и абажурами, смягчающими ночной свет.

На втором этаже я толкнул застекленную дверь, при молочном свете настольной лампы увидел большую спальню, повернутое ко мне бледное женское лицо, мужчину, наклонившегося к телефону.

– Руки! – крикнул я, а он, словно не слыша, продолжал крутить диск. Не решаясь приблизиться, я прицелился и крикнул еще раз, но в эту минуту пробежавший мимо меня Николай выхватил у мужчины телефон и швырнул его так, что оторвался провод.

– Успел дозвониться? – спросил он меня.

– Не знаю.

Немец был одет. Или, по крайней мере, не был раздет. Мы это тоже посчитали признаком того, что он давно нас услышал.

Он поднялся с кровати и оказался выше и шире Николая, который мне всегда казался рослым человеком. Николая это словно развеселило.

– Сядь! – толнул он немца к кровати. – Сядь!

Немец упирался, показывая на разбитый телефон.

– Уходите! – говорил он и грозил: – Скоро приедут!

– Не бойся! – сказал Николай и вдруг боднул немца головой в живот. Тот сел, будто его срезали под коленки. Женщина закричала, а Николай сказал мне: – Напугай их! А я скажу Ванюше про телефон.

Он убежал, а я почувствовал уже испытанное бессилие. Немец не боялся пистолета. Показывая, что пистолет заряжен, я передернул затвор и выбросил на пол целый патрон. Но, должно быть, у хозяина дома была храбрость врача, привыкшего иметь дело с разными больными. Когда я поднимал пистолет, немка еще больше белела лицом и начинала кричать, а немец говорил:

– Уходите скорее! У нее больное сердце.

Три года я мечтал увидеть этих людей боящимися меня, а вот теперь ненависть немки была мне тяжела, а страх заражал чем-то нехорошим. Я хотел объясниться, сказать, что ей бояться нечего, но немец опять поднялся с кровати и направился ко мне.

– Стреляю! – пригрозил я и позвал: – Ванюша!

Ванюша появился с лицом сморщенным, как при зубной боли. Сплюнул кровью – отсасывал порезанную руку. На кулак он намотал проступавшую красным белую тряпку. Этим же кулаком уперся немцу в грудь.

– Доктор Леер?

– Есть кто-нибудь внизу? – спросил я его.

– Пусто, – сказал Ванюша.

Я был уверен, что Ванюша немца испугает. Но тот опять сказал:

– Уходите! У нее больное сердце.

Ванюша толкнул раздвижную дверцу большого шкафа, в котором висело множество женских костюмов и платьев. Пошевелил их здоровой рукой. Немка закричала:

– Это мои последние вещи!

Не обращая на нее внимания, Ванюша еще шире раздвинул дверцы. Немец опять торопил:

– Уходите! Скоро приедут.

Ванюша подтолкнул его здоровой рукой к двери, вывел из спальни, показал на запертый шкаф.

– Может, там доктор Леер? Ключи!

Немец отрицательно покачал головой. Он относился к нам, как к больным. С этого его нельзя было сбить. Ванюша направлял пистолет, считал: раз... два... три! Николай замахивался. Немец твердил:

– Уходите!

– Черт с тобой! – сказал Ванюша. – Сломаем!

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

Немецким ножевым штыком попытался открыть дверцу. Она не поддавалась. Шкаф был из тех, которые называют встроенными. От удара штыком на фанере остался только слабый след. А главное, раздавался страшный грохот. На каждый удар немка из спальни отвечала криком.

– Больная! – спросил Ванюша. – Сердце болит?

Немец кивнул.

– Давай ключи, быстрее уйдем!

– Уходите!

Штык согнулся, но дверца не поддавалась. Сбегали в подвал, принесли кочергу и топор. Кочерга гнулась, топор не входил в узкую щель, а бить им по дверце не решались – опасались грохота.

Когда дверца открылась, поняли, почему согнулся штык. Запиралась она длинным металлическим стержнем, который входил в верхний и нижний пазы. В шкафу в бумажных пакетах висели меховые шкурки. Они нам были ни к чему.

Дважды прибежал дежуривший на улице новичок.

– Скоро?

В темноте для него время шло медленнее, чем для нас в освещенном доме. Новичка звали Яшка Зотов. Он был из концлагерников. На немца смотрел с такой ненавистью, что я испытывал облегчение, когда Зотов возвращался на улицу. Услышав, как немец говорит: «Уходите, у нее больное сердце!» – он задохнулся. Будто у самого что-то с сердцем произошло. Схватился за грудь, зашарил в воздухе руками, потянулся ко мне, к моему пистолету.

– Сердце, говоришь? Фашистов прячешь?!

Он один был без оружия. Ванюша поосторожничал. С самого начала договаривался: «Возле дома подежурить». Вспышке этой Ванюша не мешал, смотрел на немца, а когда Зотов вышел, сказал:

– Видел? Ключи давай!

Было еще два шкафа, и мы хотели их открыть. Но немец твердо сказал:

– Уходите!

Доктора Леера мы не нашли. Еды тоже.

Николай сказал мне:

– Внизу, на подзеркальнике, кое-что интересное для тебя.

Я спустился по лестнице, взглянул с надеждой: баночки, флакончики... и две губные гармоник. Я догадался: Николай запомнил мой рассказ о том, что я окончил пять классов музыкальной школы. Такая нелепость! И где меня нашла! Эти-то пять лет и убедили, что музыкального слуха у меня нет.

– Будем уходить, возьму, – сказал я, решив гармоник «забыть».

– Забудешь! – сказал Николай. – Сразу в карман положи.

Ванюша сказал:

– Спустись в подвал. На куче кокса бутылки с вином. Поройся в коксе. Там что-то запрятано. Может, вино. Может, еще что-то.

Подвал был освещен. Справа за лестницей над нависающим потолком кокс. Сверху, прямо на коксе, две или три длинные бутылки.

– Вина не бери, – сказал Ванюша. – Найдешь покрепче, возьми пару бутылок.

Я взобрался по осыпающемуся коксу, сунул пистолет в карман, сел на корточки и очень скоро нашел еще несколько бутылок. Я успокоился и даже не оглянулся, услышав за спиной шаги.

– Ванюша? – спросил я и замер, не услышав ответа. Тот, кто подошел, молчал. В неудобной своей позе – сверху давил потолок и не давал разогнуться – я обреченно повернулся. Но тот, кто подошел, был поражен не меньше меня и не мешал мне доставать пистолет. Кое-как я вытянул его из брючного кармана.

Человек поднял руки, и только теперь я разглядел его в смутном подвальном свете. Ему было лет под пятьдесят. Чтобы поднять руки, ему пришлось ссутулиться. Он был еще более рослым, чем хозяин дома.

– Ванюша! – крикнул я. – Он здесь! Сюда! – И скомандовал немцу: – Назад!

Я увидел дверь, из которой он вышел. То есть я и раньше видел ее. Но Ванюша и Николай побывали в подвале до меня, и я не ждал никаких неожиданностей. Немец пятился, а я, стараясь сохранить между нами шага два, шел за ним и звал:

– Ванюша! Николай! Он здесь!

Пятясь, немец прошел соседнее подвальное помещение и оказался в крохотной каморке, освещенной низкой лампочкой без абажура. Лампочка висела над железной кроватью, занимавшей почти всю каморку. С кровати на меня смотрела женщина примерно того же возраста, что и мужчина.

Я был заранее готов к тому, что никакого доктора Леера нет. В доме врача получил этому подтверждение. И вот оказалось, что кто-то все-таки прячется. Этот пожилой немец никак не мог быть работником хозяина дома. И никак не мог жить в глухой подземной каморке. Он мог здесь только прятаться.

Лампочка висела так низко, что я чувствовал от нее тепло. Свет отражался в глазах немца и немки. А я не знал, что делать дальше. Они сидели рядом и смотрели на меня.

– Гад! – сказал я и потряс пистолетом. Я разогревал себя, хотел, чтобы до появления Ванюши немца не оставил страх, который заставлял его так легко мне подчиняться.

Ванюша прибежал. Я пропустил его в каморку.

– Доктор Леер? – спросил он меня и наклонился к немцу: – Доктор Леер? Фрау Леер?

Немка и немец молчали, и я подумал, что их парализуют не только наши пистолеты, но и гробовая теснота каморки, и эта лампочка на длинном шнуре.

– Отвечай! – схватил Ванюша немца за грудь своей перевязанной рукой, тут же сморщился, но не отпустил. Я понимал, что перевязанной рукой Ванюша пугает немца. И гримасой боли тоже. Перевязанная рука чем-то страшнее здоровой. Ванюша тоже не знал, что дальше делать с немцем.

То есть мы, конечно, знали. Однако не было уверенности, что перед нами доктор Леер. То ли мы когда-то видели его портрет, то ли, собираясь сюда, каждый представлял его по-своему, но этот огромный старик не был похож на человека, которого мы ожидали увидеть. Несомненно, у него были важные причины прятаться от американцев. Гитлеровский министр или нет, но, должно быть, он был очень большим злодеем. И, скорее всего, чиновным. Ведь американцы защитили даже нашего лагерного коменданта.

Чутье говорило нам, что мы напали на что-то очень важное. Уж больно этот немец не помещался в подвальной каморке.

– Имя! – требовал Ванюша. – Документ!

А мне пришло в голову, что смелость хозяина дома не врачевная, а какая-то другая. И поступить с ним надо так, как с этим немцем. Однако времени, чтобы все это сообразить, оставалось слишком мало. А мысль была страшной.

Напряженное внимание в глазах немки и немца вдруг показалось мне лукавым. Будто своим профессиональным чутьем они в какой-то момент оценили нас с Ванюшей и уловили, что мы не решимся на то, чем угрожаем. Ощущение было обжигающим. Мешая мне, Ванюша наклонился к стулу, который стоял рядом с кроватью. А когда отклонился, в глазах немки и немца опять был тот же неживой электрический блеск.

На сиденье стула лежали сигареты и зажигалка. На спинке висел пиджак. Сигареты и зажигалку Ванюша отдал мне: «Возьми!» – а сам потянулся за пиджаком.

– Документ!

Однако немец с неожиданной решимостью ухватился за пиджак. Несколько мгновений длилась борьба. Она мне казалась нелепой. Дело не в документе, а в том, на что решимся. Ванюша боролся с немцем, а я стоял с пистолетом и прислушивался к накоплению решимости. Сейчас Ванюша отклонится...

Но тут застучали по лестнице шаги, и Яшка Зотов крикнул:

– Патрульная машина! Американцы!

Когда подбежали к выходу, прожектор освещал его в упор. Затем свет сместился. Патрульную машину от дома отделял поворот аллеи. Щекой ощущая ослепляющее, раздевающее давление света, я пробежал клубящееся открытое пространство. За домом нырнул в алюминиевую темноту и ориентировался по чьему-то топоту и дыханию. Бежали в глубину кустов, я невольно отклонял лицо, но ни одна ветка не задевала меня.

Тот, кого я все время догонял, вдруг опустился на землю...

– Не могу! Все!

Это был Яшка Зотов. Он дышал со свистом. Сердцу не хватало места в груди, и мне тоже казалось, что бежим невыносимо долго. Но только теперь прожекторная слепота вдруг рассосалась и я стал видеть.

Вернулись убежавшие вперед Ванюша и Николай.

– Сил нет? – спросил Ванюша. – Ну, ничего. Пересидим здесь. Они нас дальше искать будут.

Он опустился на землю, и мы стали всматриваться туда, где сквозь ветки кустов и деревьев светился всеми окнами дом и медленно двигался ищущий свет автомобильных фар. Я помнил, как он высветил всего меня, как клубился далеко впереди, как пригибались впереди спины Ванюши и Яшки Зотова. Я тоже гнул, потому что чувствовал себя на линии чьего-то взгляда.

Они не могли нас не видеть, потому что не могли не смотреть туда, куда были направлены фары их машины. Так почему же ни крика, ни выстрела?

– Наверно, успел позвонить, – сказал Николай. Его не оставляла веселость, которую я заметил в нем еще в доме.

– Похоже, – согласился Ванюша.

– Что же не задержали?

– Зачем ребятам из-за фашистов рисковать, – сказал Ванюша. – Они же не знают, что мы не будем стрелять.

– Они нас видели, – сказал Яшка. – Тут не найдут, поедут в лагерь, там будут ждать.

14

Вернуться в лагерь можно было только после шести утра. В шесть американцы снимали посты.

Вначале лагерь вообще не охранялся. Потом за пределами лагеря в караулке

Плотина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
поселилось десятка два солдат. В лагере они появлялись редко. Рядом было футбольное поле. На нем они по правилам, которые мы не могли уловить, гоняли маленький мяч. Один подбрасывал, второй бил деревянной битой, третий чуть ли не на середине футбольного поля пытался поймать его во что-то, напоминающее огромную боксерскую перчатку. По сравнению с известными нам играми в мяч эта казалась нам громоздкой и малоподвижной. Однако америанцы горячились, раздевались по пояс, азартно кричали.

Кто-то из наших нашел покрышку от футбольного мяча, набил его тряпками и вынес на поле. На одной половине мы «в одни ворота» гоняли свой мяч, на другой американцы – свой. Потом стали переходить с одной половины на другую. В конце концов, на этом не просохшем от весенних дождей поле рядом со взорванной немцами радиостанцией состоялся футбольный матч между нами и американцами.

С обеих сторон играло человек по десять. Американцам не хватало футбольной сноровки, нам расстояние от ворот до ворот казалось огромным, земля вязкой, а мяч тяжеленным. Он не прыгал, а «прилипал» к ноге, даже надевался на нее. Мы показывали игру американцам, это была не их игра, и нас вело самолюбие, но воздух спекался в наших легких.

Конечно, мы выздоравливали: были сыты и воздух был прекрасным. Но слишком глубоко в наших телах засело истощение.

И со стороны было видно: разномастная госпитальная команда гоняет мяч с солдатами из отборной части. Кто мог раздеться до трусов, разделся. Но у кого-то не было трусов или они так истлели, что совестно было их показывать. Кто-то бегал босиком, потому что у него не было ботинок или он их жалел, а кто-то не раздевался, потому что стеснялся своей изможденности.

Мы выиграли, а может, выжилили мяч. Мы объявляли правила, мы их и истолковывали, судья был наш и болел за нас. Но запомнилось не это, а неожиданно растревоженная в нас больничная изможденность, воздух, запекшийся в груди, потому что легкие не успевали добывать из него кислород. Открывшееся на бегу ощущение нездоровья и было тем, что сильнее всего запомнилось от этой игры.

Впечатление молодой, даже младенческой откормленности было вначале главным от американцев. Немецкие машины грузили под тяжестью газогенераторных печек, им не хватало бензина. У немецких водителей была привычка к скорости, при которой главное – доехать. Американцы были озабочены самой ездой. В лагерь, сопровождаемый двумя или тремя машинами, часто приезжал американский комендант городка. Машины на такой скорости подлетали к бетонной стенке гаража, что на это страшно было смотреть. Конечно, водители машин были молодыми людьми. Война кончилась, а лихость осталась нерастраченной. Но одной молодостью эту лихость нельзя было объяснить.

Точно так же нельзя было не заметить вольные, неармейские позы, запах алкоголя и вообще отсутствие всего, что называется строевой подготовкой.

Немцы, французы, итальянцы, бельгийцы, голландцы, поляки должны были выработать у нас что-то вроде привычки к иностранцам. Но на американцев трудно было смотреть просто как на новых иностранцев. Нетронутыми они привезли свои машины, привычку к скоростной езде, незнание того, что стало общим для европейцев в эти годы. Это незнание тоже было молодым или даже младенческим. Оно мешало, но не отталкивало, потому что есть вещи, знание которых не красит и, уж во всяком случае, не прибавляет здоровья.

Нельзя было определить, кого привозил с собой американский комендант – помощников, подчиненных или приятелей, приглашенных на пирушку. Так они выпрыгивали из еще не остановившихся машин, такой смешной компанией шли по лагерю.

Комендант выступал перед нами в бараке, где была оборудована эстрада. Вернее, говорил переводчик, а рядом с ним на эстраде стояла компания жующих резинку американцев, и мы могли только гадать, кто из них комендант.

Разглядели мы его, когда американцы устроили для нас самодеятельный концерт. Переводчик объявил, что первым будет петь комендант. Комендант отделился от компании, принесли аккордеон, и комендант запел. Это был молодой верзила с

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

обветренным от езды в открытой машине лицом. Пел он будто для аккордеониста, а не для нас. Комендант был неумелым певцом, аккордеонист – аккомпаниатором; на эстраде не прекращалось хождение, слов мы не понимали, но видели, что артисты не то чтобы стараются развеселить нас, но сами веселятся. Потом еще кто-то пел и играл на аккордеоне. Вызывали на эстраду нас. И я помню свое очень сильное желание, чтобы кто-то вышел и спел или сыграл, и смущение в зале, вызванное тем же ожиданием. Выталкивали меня: «Сыграй на аккордеоне! Те же клавиши, что и на пианино!» Я ждал, что меня начнут выталкивать. Этот страх жил во мне с тех пор, как я рассказал, что учился в музыкальной школе. Всегда находился кто-то, кому хотелось уличить меня в хвастовстве. Но дело даже не в этом. Я ведь и перед школой два года занимался с учительницей, посещал уроки сольфеджио, носил черную папку с нотами, получал в школе на экзаменах переходные баллы и завидовал тому, кто, тыкая клавиши негнувшимся пальцем, мог на любом разболтанном пианино подобрать самый простенький мотив. Противоречие было многолетним, ежедневным и, в конце концов, превратилось в мечту, которую знают глухие и слепые и которая относится к мучительному разряду «в один прекрасный день». В один прекрасный день я возьму в руки любой музыкальный инструмент – губную гармошку или гитару – и легко воспроизведу то, что слышу. Потому что свои музыкальные занятия я ненавидел, а музыку любил.

Годы потребовались мне, чтобы заметить это противоречие и чтобы оно стало досаждать. Вначале я просто ненавидел гаммы, этюды, многочисленные упражнения для пальцев и слуха и в музыкальную школу ходил, уступая родителям. Музыка была в патефонных пластинках, в концертных залах, но чаще на улице или во дворе в песенках под гитару. Она проникала в нашу квартиру с нижнего этажа, где прекрасно, как мне казалось, играли на фортепьяно братья Касьяновы. Она была со способными или талантливими, кто ловкими или неловкими пальцами на знакомом или незнакомом инструменте мог подобрать любой мотив. В выученных мною наизусть пьесах она и не ночевала. И к музыкальной школе и моим занятиям в ней никакого отношения не имела.

Взрослого человека это, конечно, сразу стало бы удручать. Но взрослого родители не могли бы заставить жить не своей жизнью. С годами пальцы мои становились гибче, ноты я читал все более бегло, но от этого только чаще ударялся о ту перегородку, которая отделяла меня от музыки. Ничего тут обидного не было, если бы это не продолжалось годы. Война отменила мои ежедневные музыкальные занятия. Но досада на то, что «прекрасный день» и не наступил, не забылась. А в немецком лагере сделалась еще сильнее. Она стала обидной с тех пор, как я получил кличку «музыкант» и надо мной стали пошучивать.

Среди замкнутых кругов, по которым в лагере ходила моя мечта, был и такой: я подхожу к фортепьяно (где оно и почему я к нему подхожу, придумывалось каждый раз заново), поднимаю крышку и, прежде чем мне успевают помешать, доказываю, что я не «русская свинья». У мечты были продолжения: мне дают сигарету, хлеба, разрешают приходить и играть. Соколик, Костик, Москвич обрадованы тем, что я так хорошо играю. Им тоже почему-то очень важно, чтобы в лагере кто-то оказался настоящим музыкантом.

У этой мечты было условие. «Прекрасный день» уже наступил, но я об этом догадываюсь, только когда подхожу к фортепьяно. Чем дальше заходила мечта, тем с большей досадой приходило отрезвление. Новый приступ мечты заводил еще дальше, досада усиливалась, и я понимал, что бьюсь о невозможность. Это была не единственная и не самая главная невозможность в моей жизни. Еще до войны у меня вдруг побелел левый сосок, на теле появилось несколько белых пятен. На пляже я позже всех снимал майку, потому что кто-нибудь обязательно тыкал мне пальцем в грудь и спрашивал:

– Ты чего разноцветный?

Я объяснял:

– Потеря пигмента.

Но спрашивающий хохотал.

– Цветной! – И звал других ребят: – Смотрите, пестрый!

Кто-то догадывался:

– Лишай!

И я получал изолирующую меня от ребят кличку:

– Заразный!

Почему эта болезнь обрушилась на меня, почему выбрала на моем теле такое место, я думал, когда другим было особенно весело. На пляже, в конце концов, забывали о моих белых пятнах, но я-то не мог о них забыть! Они не загорали под солнцем, не проходили сами собой и были в моей жизни первой мучительнейшей невозможностью.

За немецкой лагерной проволокой у меня появились новые невозможности, но и старые не оставляли меня. Это может показаться удивительным, но и о пятнах своих я не забывал. Голод, холод, каторжная работа – ничто на них не действовало. Они были на месте. А однажды Костик, увидев меня в умывалке обнаженным по пояс, захохотал:

– Цветной!

И удивительно было то, что голодный, изможденный лагерными заботами Костик смеялся над тем, над чем когда-то смеялись ищущие забавы пацаны.

Я уже понимал, «прекрасные дни» не наступают. Если природа не наделила музыкальным слухом или посадила на неподобающее место белое пятно, все так и останется: и музыкальная глухота, и белое пятно. Но и смириться с этим все равно что смириться с лагерной проволокой. По ту сторону мир! Семь лет ежедневных занятий обострили мое внимание к тому, без чего музыка не существовала, – к талантливости. Но только теперь я узнал ей цену. Талантливость насвистывала в бараках. Чтобы показать себя, ей достаточно было двух алюминиевых ложек, расчески, обернутой папиросной бумагой. Ее замечали сразу и сразу же тянулись к ней. Талантливому не надо было ничего объяснять или доказывать, его и так было видно. И не то чтобы ему каждый раз уступали лучшее место, но какие-то знаки внимания оказывали. Рассказав, что учился в музыкальной школе, я словно посягнул на чужое место. И сомневающиеся требовали от меня доказательств.

Меня выталкивали на эстраду. Я сопротивлялся:

– На аккордеоне не умею!

– Ты ж в музыкальной школе учился!

– Если бы ноты были, – оправдывался я.

Кто-то запустил в меня немыслимым ругательством; я вздрогнул и догадался – Костик.

В конце концов я отбил. Но усилился страх, что подойдет момент, когда не отбиться. Усилился и интерес к тем, кому достаточно двух ложек, чтобы сразу было видно – артист.

Да не в этом дело! Может то, чего ты не можешь, слышит то, чего ты не слышишь. И не все показывает. То, что показал, можно перенять, выучить наизусть, как я свои музыкальные пьесы. Но где берет он, ты не возьмешь. Надо ждать, пока покажет.

И ждут, и радуются, когда показывает. Сожалеют, если пропустили момент, спрашивают тех, кто видел и слышал. Восхищаются:

– Во дал!

Пытаются изобразить, как «давал». И лишний раз убеждаются, что это по силам только тому, кто «давал».

Конечно, не только музыкальная талантливость была в цене. Меня угнетало и то, что ни срифмовать, ни отстучать чечетку, ни кого-то смешно переобезьянить я не мог. И не делалось легче оттого, что таких, как я, большинство, а умельцы все наперечет.

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

Завидовал я не только вниманию, которым они пользовались в лагере, но и сопричастности их тому, чему я не научился за годы музыкальных занятий.

Я вырослел и понимал, что надо чем-то расплачиваться с жизнью. Просто расти уже недостаточно. Должно быть, не только для меня это было остро. Вдруг ко мне подходили ребята из соседнего барака.

– Это ты в музыкальной школе учился?

– Я.

– И только на пианино и только по нотам?

– Да.

– Я знал одного, он и на пианино, и на гитаре, и с нотами, и без нот.

– Ну и что?

– А то...

Рассматривают враждебно, не уходят.

– Вам-то что?

– А то!

Ловят мою интонацию, как перед дракой. А ведь мы почти незнакомы. Никаких взаимных обид. Было бы понятней, если бы они были.

– Говорить не надо... Понял?

Как когда-то на пляже кричали: «Цветной!», так теперь говорят друг другу: «Музыкант объявился!»

– Пошел ты! – склоняю я разговор как раз туда, куда его клонит самый настырный.

Я очень хорошо представляю себе: только что он пообещал напарникам наказать самозванца. Они подхватились: «Пошли!» И вначале шли быстро, но вспомнили, что идут к военнопленным, и отвернули бы, однако увидели меня. Отступить было некуда, но решительность настырный растерял, а когда из барака вышел Ванюша, разговор совсем прекратился.

Запомнилась недоброжелательность, накопившаяся там, где я ее не ждал. Неожданность ее была особенно неприятна. И в очередной раз пришло ощущение вины. То ли раньше надо было подальше послать настырного, то ли не надо было никому говорить, что учился в музыкальной школе, если музыканта из меня не получилось. Ведь виноват не виноват, а все равно нехорошо, что после стольких лет занятий музыкой не могу спеть или сыграть на аккордеоне хотя бы так, как эти американцы, которые, судя по всему, учились этому не в школе. Все в бараке были смущены тем, что никто из наших не поднялся на эстраду, не спел в ответ на песни американцев свою, не сыграл на аккордеоне, а я особенно.

Все-таки с невозможностями, с их непоколебимостью было не все просто. Американский комендант немецкого городка, поющий для нас в бараке, где совсем недавно собирались эсэсовцы, был самым поразительным тому доказательством.

Он еще дважды созывал нас в этот барак, но уже не на самостоятельный концерт, а для того, чтобы объявить свое недовольство. Какие-то вооруженные люди напали ночью на бауэрские дома, уносили еду и одежду. Ограбленные жаловались коменданту. Они считали, что это были русские. Комендант в первый раз просил нас учесть эти жалобы, во второй запретил выходить из лагеря после одиннадцати вечера.

Один или два американца давно уже дежурили возле лагеря. Они не мешали нам выходить из лагеря и возвращаться в него. По европейским меркам, они вообще не ходили на часовых. Сидели на траву, приносили с собой раскладной стульчик, надолго отлучались с поста. Вначале вокруг них собирались любопытные. Один из

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

этих часовых делился с любопытными бутылочкой виски, к которой прикладывался сам, давал поддержать свою полуавтоматическую винтовку и даже стрелял из нее. Чтобы доказать, что это тяжелое оружие бьет без отдачи, он держал винтовку в вытянутой руке. Звали американца Курт, фамилия у него была немецкая, и сам он был по национальности немцем. Это мгновенно усилило наши подозрения, которые возникли с того момента, когда у входа в лагерь появился часовой.

Доступность часовых или их полное равнодушие нисколько не смягчали подозрений. Три года назад я своими глазами видел в нашем городе невооруженного немецкого солдата перед воротами нашего школьного двора. Он не мешал не только входить во двор, но и выходить из него. Не отгонял и любопытных, близко подходивших к воротам, толпой стоявших на противоположной стороне улицы, переговаривавшихся с теми, кто во двор зашел. Двор был местом сбора евреев.

Невооруженный часовой мог оказаться предвестником событий более зловещих, чем крикливый полицаи с винтовкой или автоматом, – вот что осело в нашей памяти. Вооружен часовой или не вооружен, важно, что он появился.

Среди американцев, живших рядом с лагерем, был русский по имени Алик. Родился он в Калифорнии, был сыном фермера, учился в американской школе с детьми фермеров, но по-русски говорил, как мы. Родители до сих пор называли себя киевлянами, хотя в Америку переехали в начале века.

– Возвращаться собираетесь? – спросили мы.

– Нет, – ответил Алик. – Но дома говорим по-русски.

Мы спросили, зачем поставили часовых.

– Чтобы оградить вас от немцев.

– А этот Курт, он же немец?

– О! – сказал Алик. – Он герой войны.

Оказывается, Курт с ручным пулеметом первым перебрался через какую-то речку и скосил не то десять, не то пятнадцать немецких солдат. Чтобы уточнить, сколько их было, Алик обратился к другим американцам, и по тому, как они взволновались, мы поняли, что это известная история.

Пускали нас к американцам свободно, и мы приходили поглазеть на удивившие нас с самого начала двойные каски, на тяжелые полуавтоматические винтовки, на ножи, лезвия которых полностью прятались в рукоятке и выбрасывались пружиной, на Алика, который у себя на ферме в Калифорнии вырос таким высоким и толстым, что рядом с ним в лагере некого было поставить.

Необычные размеры Алика нас очень занимали. Мы росли, и ширина грудных клеток, сила рук, рост было тем, в чем мы все время сравнивались. Мы спорили о том, вырос бы он точно так же, если бы его родители оставались в Киеве.

– Черта с два! – говорил Костик. – У них ни голода, ни войны!

Пытались мы наладить с американцами обмен. Они владели самой стойкой «валютой» тех дней. Костюм можно было купить за сто пятьдесят сигарет. Столько же примерно стоили часы. Но никто из моих знакомых не расстался бы с сигаретами в обмен на часы или костюм. Костюм на сигареты – было бы понятной лихостью. Презрительный вопрос «Домой повезешь?» показывал наше отношение к вещам и времени. Загадывать далеко значило дразнить судьбу.

Стоит ли, однако, говорить, что ни костюмов, ни часов, ни сигарет у нас не было.

Обычное человеческое желание чем-то гордиться было очень сильно в нас. Мы гордились несчастьями, которые свалились на нас, знанием жизни. Но, может, больше всего я гордился тем, что мог полпайки поменять на табак. Пустить жизнь дымом!

Непривязанность к вещам мы считали едва ли не главным уроком, который эта жизнь нам дала.

Хвастовство этой непривязанностью принимало формы дикие, амбиционные. Я, например, в вагоне, которым американцы перевезли нас в нашу демаркационную зону, бросил свое единственное одеяло, за что был наказан множеством ночей на голом полу или на одеяле Костика.

Костик не осудил меня за эту вспышку, которую и объяснить-то по-настоящему нельзя. Ведь трудно понять, почему собственное одеяло топчут ногой и произносят: «Катись, откуда приехало!» Готовность к такой вспышке или способность ее понять была во многих из нас. Тут, повторяю, надо учесть, что речь шла не о вещах вообще, а о непривязанности к единственной вещи. По поговорке, к единственной рубашке, которую надо снять и отдать другу. Вот до какого состояния мы считали себя обязанными довести и, естественно, довести не могли. Это и давало редкие, дикие и не оправданные никакой целесообразностью вспышки.

В отсутствии целесообразности и был их блатный смысл. И в хлебе, обмененном на табак, тоже было что-то блатное. Жизнь во мне едва тлеет? Так я могу искурить ее сигаретой! Ведь главное блатное хвастовство – хвастовство непривязанностью к жизни.

В лагере естественно было бы бросить или хотя бы не начинать курить. Порвать, по крайней мере, с этой ложной зависимостью. Никто не бросал! Отказываться от табака я начал после войны. И все сокрушался – табачный дым перестал доставлять то поразительное удовольствие, которое я получал от него в лагере. Это была разница между целой сигаретой и «бычком».

У медиков могут найтись и другие объяснения того, почему истощенные люди так тянулись к никотину. «Вы психологизируете, – мог бы сказать мне врач, – а все дело в химии изнуренного организма». Мне же кажется, что химии мало, чтобы объяснить, почему самой стойкой валютой тех дней были сигареты и почему восторг и страх бессмысленного поступка был для нас в те дни привлекателен.

Какой же была та жизнь и какими в ней мы были сами, если белая сигаретная бумага вызывала у нас счастливые предчувствия, а цветом самого счастья был табак!

Когда пришли американцы, мы, конечно, захотели освободиться от наших каторжных лохмотьев. Но не переставали хвастать своей непривязанностью к вещам. Напротив, только теперь у нас для этого появилась какая-то реальная возможность. Однако американцы снабжали нас едой, а не одеждой. Не снабжали и табаком. Меню свою стоимость своих сигарет они поняли очень скоро. А сигареты, которые мы растащили с эсэсовских складов, быстро кончились. Добыть одежду и что-либо для обмена на сигареты можно было только у немцев. Но еда, одежда, часы не интересовали американцев. Они покупали оружие. Мы об этом узнали не сразу. Пистолет – вещь тайная. Ее не покажешь тому, кто, по нашим представлениям, должен его у нас отобрать. Понятно, тайна эта лагерная. Мы знали тех, у кого есть оружие, и догадывались о тех, у кого оно может быть. И были встревожены и удивлены, когда узнали, что Сашка Эссенский продал американцу пистолет. Лагерной тайне был нанесен ущерб. К тому же было не очень понятно, зачем солдату, у которого есть казенное оружие, еще и собственный пистолет.

Однако постепенно все разъяснилось. Алик объяснил, что у солдата коммерческий интерес. Сигареты входят в армейский паек, а хороший бельгийский пистолет в Штатах можно продать. Сколько это будет стоить? На эти деньги можно прожить недели две. Алик говорил по-русски, а коммерсант кивал, словно соглашаясь с каждым словом. Многих американцев мы уже знали в лицо и по именам, а этого заметили впервые. У него было темноватое лицо мастерового. Будто он не только торговал пистолетами, но еще и починял и смазывал их.

Чем-то он был похож на немца парикмахера, который в вуппертальской тюрьме дал мне за хлеб ватные сигареты. И еще на Леву-кранка. Все томятся по дому, празднуют неожиданную безопасность и свободное время, говорят о том, что было, и уверяют друг друга, что не допустят этого вновь, а он ни на минуту не упускает своих целей. Из-за этого его вначале и не замечают. Но дом далеко, и наступает момент, когда такого человека не заметить нельзя. В этот момент почему-то чувствуешь себя дураком. Будто тебе вот-вот скажут: «Своя голова есть?»

Как бы то ни было, первый пистолет был продан. Вместе с этим обнаружилось, что американцы сочувственно относятся и к нашим пистолетам, и к тому, для чего мы их

добываем.

Мы это помнили, когда шли ночью из кранкенхауза. Но понимали: прикажет комендант, и нас будут ловить. Раза два видели свет фар патрульной машины. Она петляла по коротким городским улочкам, а потом пошла по серпантину в гору, и свет ее прожекторов некоторое время мелькал среди деревьев.

– В лагерь пошла, – сказал Ванюша. – Поодиночке легче. И в лагерь не сразу идти. Пересидеть где-то часов до десяти.

У меня сердце сжалось, когда я представил себя одного на этих улицах или в лесу. Ванюше не ответили. Потом Николай сказал:

– Больше прошли, меньше осталось.

Я видел, Ванюшу это не убедило. Он посматривал по сторонам, словно готовился от нас уйти, но вновь об этом не заговаривал.

На гору мы поднялись без помех. До утра сидели в здании аппаратной взорванной радиостанции. Бетонное здание напоминало дот. Оно уцелело, несмотря на взрыв, такие толстые у него были стены. Из лагеря сюда ходили как в тир. Внутри поднимали стрельбу, пули с визгом рикошетировали от каких-то медных приборов, а снаружи ничего не было слышно. Бетонные стены и толстая металлическая дверь не пропускали звуков. Сейчас сидели тихо. К утру Николай затомился.

– Пойду разведую.

Когда дверь за ним закрылась, Ванюша усмехнулся.

– По Марусе соскучился.

И правда, минут через двадцать Николай вернулся с женой.

– Тихо, – сказал он. – И ночью шума не было.

– Я всю ночь прислушивалась, – сказала Маруся, – никакого шума не было.

По возбужденному припухшем лицу ее было видно, что она гордится ожиданием, выпавшим на ее долю, и тем, что Николай привел ее сюда.

– Хозяину дома, – сказал Николай, – не очень-то и хотелось, чтобы нас поймали. Доктора Леера – или кто у него в подвале прятался? – тоже вытянули бы на белый свет.

Он вытащил из кармана два блестящих предмета, при виде которых мне сразу стало нехорошо.

– Я же говорил, забудешь, – сказал он, протягивая мне губные гармоники. – Смело на них играй, никто за ними сюда не придет.

Это был не единственный мой ночной трофей. У немца, которого мы приняли за доктора Леера, Ванюша вырвал-таки пиджак. Забрал и брюки. И все отдал мне, когда мы возвращались в лагерь.

– Ты первый немца увидел, – сказал мне Ванюша.

Пиджак я сразу же надел. Он висел на мне как халат. Но это только чуть уменьшало мою радость. Когда рассвело, на пиджаке и брюках рассмотрели ржавые пятна. Это была Ванюшина кровь. Пиджак и брюки он тянул порезанной рукой.

– Холодной водой замоешь, – советовал Ванюша. – Носи, не беспокойся.

15

Я и не беспокоился. Вопрос о таких трофеях не казался мне тогда щекотливым. Беспокоило то, что я не решился выстрелить в этого подвального немца, доктор Леер он или нет.

С начала войны все ощутили в воздухе добавочное давление. Я видел убитых

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
бомбежкой, присыпанный песком асфальт в том месте, где они лежали. Видел беженцев, застреленных прямо в машине, и уже во мне самом усилилось давление и пережало какой-то важный сосуд. С каждым днем этих пережатых сосудов становилось все больше.

В конце концов, смерть стала постоянным измерением. Если вас было двое, она была третьей. Четверо – пятой. Десятеро – одиннадцатой. Если ты был один, она была второй. Она всегда была тут. Началось это даже не в лагере, а когда немцы вошли в наш город. Это было в их приказах, объявлениях, которые всегда кончались одинаково: за неявку на регистрацию, противодействие, саботаж; тем, кто помогает раненым красноармейцам, прячет евреев, укрывает еврейское имущество, расстрел, расстрел, расстрел...

С этим я засыпал, а просыпался, вспоминал о пайке, о работе, но непременно и об этом. Я помнил, как немец солдат празднично застрелил собаку и она выла, кусая ударенное пулей место. Смерть была беспричинной. Причинами от нее нельзя было отгородиться: это я сделаю, а этого не сделаю и останусь жив.

Растворенная в воздухе, она была неотступной, привязывала к себе мысль.

Она была в черном цвете эсэсовских мундиров, в их петлицах, в немецких воинских и государственных эмблемах, в кокардах, изображающих череп и скрещенные кости. Чтобы не забыли, вам непрерывно напоминали о ней.

И кто же поставит мне в вину, что, тысячу раз представляя себе свою гибель, я столько раз представлял себе гибель своих обидчиков. Тысячи раз думал я, как убью Пауля, коменданта или Пирека. Ночами клялся себе, что сделаю это.

Пауль умер сам. Случай выстрелить в коменданта я упустил. Это ведь только отговорка, что его увезли американцы. Пистолет-то был у меня в кармане!

Утешаясь мыслями о мести, я совсем недавно думал, что убить и быть убитым – самое противоположное. Противоположное не бывает. А вот теперь чувствовал, что это чем-то похоже.

Что же другое помешало мне выстрелить, когда я, стоя в подвальной камерке, ощущал на лице тепло электрической лампочки и видел ее отражение в глазах немца и немки, сидевших на разворошенной постели? Боязнь ошибки? А за что убили беженцев в машине, мать, деда и бабушку Камерштейна? Я, конечно, ждал, что сделает Ванюша, чувствовал, что борьба, которую он затеял с немцем, нелепа – не за пиджаком же мы сюда шли! Но и Ванюша был тут ни при чем. Выстрели он, все мое осталось бы со мной. Если ты жив, никто за тебя не отомстит. Мстят только за убитых.

Вину не раздобишь делением на всех. «Общая вина» – только говорится. Если бы ее можно было разделить даже не на четыре, а, скажем, на четыреста миллионов, моя доля несколько не уменьшилась бы. Я сам должен был выстрелить, а не ждать, пока это сделает Ванюша.

Конечно, и мне, и Ванюше пришло в голову, что этот немец – не доктор Леер. Однако недаром же он прятался. Увидев меня, он сильно испугался. Но потом страх его уменьшился. А когда он вцепился в пиджак, стало понятно, что он перестал нас бояться совсем. Слово раньше нас уверился в том, в чем мы до самого конца уверены не были.

Как увидел его и обнаружил камерку, в которой он прятался, как догадался, что он важный фашист, я рассказал Яшке Зотову и Николаю по дороге в лагерь.

– Что ж ты его не убил? – враждебно спросил Яшка. Я подождал, не ответит ли Ванюша, но он шел молча, и я сказал:

– На лбу у него не написано, кто он такой!

– Ты хотел, чтобы на лбу?

Яшка был прав, но и потом, рассказывая, как меня осенило, что немец – важный фашист, я добавлял:

– Но кто его знает! На лбу у него не написано.

Не рассказывал я о напряжении, которое испытывал, стоя перед этим немцем и готовя себя к выстрелу. А было оно таким, будто курок заклинило и я не сумею его нажать, даже если немец на меня бросится.

И мысли и чувства мои были тогда в разгоне. Сидя на корточках на куче угля и не имея возможности разогнуться, я чувствовал себя в западне. А когда достал пистолет и пошел за немцем, увидел в каморке немку. Тусклый отблеск сорокасвечевой лампочки в ее глазах чем-то меня поразил. Немка не кричала, не возмущалась, как жена хозяина дома наверху. Молча ждала, что я сделаю. В молчании этом я улавливал какое-то признание или даже согласие, но не со мной, а с кем-то или с чем-то другим. И тусклый отблеск в ее глазах был не от слабого электричества, а от ожидания. Я звал Ванюшу, но весь был захвачен усиливавшимся металлическим сопротивлением под моим указательным пальцем. Расстояние между выстрелом и невыстрелом короче движения указательного пальца. Я это помнил и пальцем и ушами, в которых выстрел всегда раздавался раньше, чем его ждешь, и кистью, которая не справлялась с движением отдачи. Нельзя уловить границу между выстрелом и невыстрелом. Но уже в который раз я застревал на этой несуществующей границе.

Судьба привела меня в подвал, заставила рыться в куче угля, и я это так и понял, увидел над собой доктора Леера или кто он такой. Чувство судьбы – вернее, ее потери – было у многих лагерников. У меня оно тоже было обострено. Большинство случаев расквитаться, которые я упустил, мне казались сомнительными. Этот же был несомненным. Но я не выдержал напряжения, которое возникает перед выстрелом. Не преодолел сопротивления спускового крючка. Все было за то, чтобы выстрелить: три лагерных года, пистолет, который я специально для этого добыл, почти полная уверенность что немец – тот самый фашист. Даже какое-то согласие в глазах немки. Чего же мне не хватало? Что показалось непереносимым? Звук, который ударит в каморке? То, что после него тут изменится? Перенесу ли это?

Я не задавал себе этих вопросов, я их избегал. Они приходили сами. Уж если ты по своей воле разминулся с судьбой, тебе есть о чем себя спросить.

И потом, эта возня с пиджаком, в который Ванюша вцепился, будто в нем был какой-то выход! Должно быть, Ванюше тут тоже чего-то не хватало! Каких-то указаний судьбы. Иначе не стал бы он с таким усилием вырывать ненужный ему пиджак.

Это была какая-то постыдная отходчивость! Страшно сказать, мне не хватало гнева, памяти. Где я их растерял? И за какое время? За несколько недель при американцах? При такой памяти на зло, вооружен ты или нет, тебя возьмут голыми руками! Именно это я чувствовал, с заряженным пистолетом в руках наблюдая, как немец и Ванюша все с большим упорством тянули пиджак к себе. Чтобы сильней дернуть, Ванюша уперся головой немцу в живот и оказался у него на коленях. Теперь трое были на развороченной постели. В озлоблении борьбы и Ванюша и немец будто одинаково забыли о моем и Ванюшином оружии. И в выражении глаз немки что-то изменилось, словно она догадалась, что мы не те, кого она с усталостью и согласием ждет. И еще в глазах ее было что-то. Будто она презирала нас за то, что мы упускаем такой случай. Презрение, казалось, шло из жуткой глубины, где никогда никаких случаев не упускают.

Дважды немцы брали мой родной город. В декабре сорок первого они продержались всего десять дней. Их было немного. Но, когда они откатились на своих мотоциклетах и автомобилях, город застонал потрясенный. У жестокости, которая после них осталась, не было названия, потому что у нее не было причин и границ. Хоронили несколько сот человек. Это были случайные прохожие или жители домов, около которых нашли мертвых немцев. Люди успокаивали детей, кипятили воду, а их выгнали на улицу и поставили к стене родного дома. Должно быть, переход от простейших домашних дел прямо к смерти особенно невыносим. Нелепа смерть у стены своего же дома. Наверно, они не верили до последней секунды. И тем, кто их хоронил, этот переход казался особенно ужасным. Ведь они тоже в этот момент что-то делали у себя дома или куда-то собирались идти.

Выгоняя людей из кухонь и подвалов, куда в эти дни переместилась жизнь, останавливая их на улице, убийцы показывали, что все горожане для них одинаковы. Это была какая-то новая смерть и новый страх, при котором стали опасны и

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

домашние стены и улица, которой идешь. Было непонятно, как на все это могло хватить злости. И осталось странное ощущение, что стреляли не серые фигурки в шинелях и плащах, а те мотоциклетки, на которых они разъезжали по городу. Так мало во всем этом было человеческого.

В городских скверах немцы оставили несколько своих могил: крест и солдатский шлем на холмике. Мы ходили на них смотреть, будто похоронены там были не люди, а те же стреляющие мотоциклетки.

Некоторое время могилы стояли нетронутыми, но потом кто-то решил, что убийцы и убитые не могут лежать в одной земле, трупы вывезли за город, а могилы разровняли. Когда немцы захватили город второй раз, они стали разыскивать тех, кто принимал в этом участие. Понятно, тех, кто решал, они не нашли и расстреляли мобилизованных мальчишек-подводчиков.

Во второй раз немцы продержались дольше и убили гораздо больше людей. Так почему они могли убивать сто за одного, а я не решаюсь одного за сто? Разве есть другой способ расквитаться? И как иначе избавиться от памяти, которая давит меня? Может, неполноценность, о которой толковали эти стреляющие мотоциклетки, и есть отходчивость? Не за нее ли нас презирала немка в подвале?

Да что немка! Разве кому-нибудь в лагере расскажешь все как было? Разве не скривятся презрительно Костик или Блатыга? А я сам не презираю себя? Да и не в этом дело! Где найти еще один такой случай! Ведь не успокоишься же на презрении к самому себе!

В лагерь прошли без помех. Через некоторое время, чтобы убедиться, что все спокойно, заглянули в казарму к американцам. Поздоровались с Аликом и торговцем пистолетами, спросили:

– Что нового?

Алик покосился на мой пиджак.

– Большой!

– Другого там не было, – нагло сказал я и показал блестящие никелированные гармоники. Одна была гнутой, полукруглой, вторая – прямой. Это были довольно большие инструменты со множеством ладов. – Какая больше нравится? – спросил я Алика, рассчитывая, однако, заинтересовать торговца пистолетами.

Но тот взглянул равнодушно. Алик же сказал с сожалением:

– Я не умею.

Ванюша отправился спать, а я двинулся по лагерю в распахнутом пиджаке, расстегнутой рубашке и брюках такой длины, что пояс я затянул у самой груди, а руки держал в карманах, чтобы все время подтягивать штанины. Несмотря на это, штанины ложились гармошкой на туфли, попадали под каблуки. Хотя я в этом не разбирался, я понимал, что костюм из дорогой материи, а то, что я в нем похож на чучело, только усиливало мое торжество. Сразу было видно, что я его не выменял, не купил, а добыл достойным для мужчины способом. К тому же, куда бы я ни приходил, оказывалось, что слухи опередили меня. То ли раньше нас пришли прямо из кранкенхауза, то ли мы сами успели что-то кому-то сказать. Я и потом поражался тому, как быстро приходили в лагерь такие слухи. Как бы там ни было, интерес в глазах тех, кто попадался мне навстречу, еще больше возбуждал меня. До полного, престижного, что ли, счастья мне не хватало только часов и сигарет. Я показал Костикку гармоники.

– Концертные! – с уважением сказал Костик.

– Сколько сигарет дадут?

Мы никак не могли сложить цены, но подошел Блатыга, благодушно обнажил запенившуюся слюной фиксу, презрительно поцокал языком.

– Закинь подальше, если сам не умеешь играть. Кому они нужны? А на костюм я тебе покупателя найду. Сто сорок сигарет. Девяносто тебе, пятьдесят мне. Сигареты,

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
как патроны: табак сухой, бумага трассирующая.

– Американские?

– Бельгийские!

– Тебе за что пятьдесят?

– Покупатель мой.

«Блатной» разговор как трясина. Вроде и не угрожает Колька, но за каждым наглым предложением угроза. Тянет с меня пиджак, хотя я и не думал соглашаться.

– Тебе все равно большой.

Это «блатная» игра: «И брюки велики! Да это не твой костюм! А ну снимай!»

Я давно смотрел, нет ли поблизости дружков Блатыги. Но нет, Блатыга не собирался заходить со мной так далеко. Просто пробовал свои привычные приемы. Может, какой и пройдет.

И я с новой силой пожалел, что не застрелил подвального немца. Было бы легче выстрелить в Блатыгу.

В Германию я попал с почти ненарушенным представлением о себе, людях, нормах бытия. То есть, конечно, с книжным представлением. Все оказалось не таким. И люди, и нормы, и я сам. Моя собственная слабость открылась мне так ясно, что не заметить ее было нельзя. Засомневался ли я в себе? Нормах? Людях? Было ли тут душераздирающее противоречие? Замучило ли оно меня?

Вначале я надеялся на время. На некий заложенный в нем автоматизм, который даже помимо моей воли сделает меня таким, каким мечталось. Это была устойчивая надежда. Время у меня было. Подрасту – стану человеком.

Потом разочаровался во времени. Вернее, стал подозревать, что его автоматизмы не срабатывают. И собственное повзросление стал переносить со дня на день, как переносят на «понедельник» все неприятные дела.

Однако в нормах я не сомневался ни разу.

С тех нор как Блатыга на глазах у всех избил Шахтера, с тех пор как бросил в наше окно топор, я считал, что его надо убить, но не решался на это. А он, казалось мне, если бы ему понадобилось, не стал бы выжидать и церемониться.

По мере того как я упустил случай за случаем расквитаться с немцами, кое у кого в лагере укреплялось представление обо мне как о человеке, готовом пустить в ход оружие. Но Блатыга всегда смотрел на меня так, как те подвальные немец и немка, когда догадались, что мы не решимся на то, чем угрожаем. И вообще на меня и всех других он смотрел так, будто никаких слабостей за собой не знал и все свои мысли считал правильными.

Я уже рассказывал, как накапливается ненависть в мышцах, сосудах, мозгу, как течет по жилам вместо крови и, подобно голоду, не даст от себя отвернуться. Как хочется от нее освободиться, вздохнуть свободно и как понимаешь, что это невозможно, куда живы твои обидчики. Но я не знал еще, что злоба и мстительность обычных людей спадают, как спадает зубная боль. Они поддерживались насильно. И возбудить их в себе по желанию невозможно. А жалость, любопытство тут как тут!

Изо дня в день на протяжении многих лет мы видели бомбежки и убитых, читали и слышали о подорванных и подорвавших, застреленных и застреливших и четко делили жизнь на тыл и фронт. Вернее, фронт – это и была жизнь. Для нас тут и никакой метафоры не было. От того, что делалось на фронте, зависело, будем мы живы или нет. А если на фронте умирали и убивали, то и я считал себя обязанным убить.

Это была главная проверка. Все остальное рядом с этим не имело значения.

Я, конечно, участвовал в Ванюшиных предприятиях. И, возможно, Костик или

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

какой-нибудь другой ровесник мне завидовал. Но я-то видел себя не со стороны. Я показывал губные гармоники, хвастал костюмом, который сидел на мне как на чучеле, рассказывал, как целился из пистолета в хозяина дома и в того, кто мог оказаться доктором Леером, как, сидя на куче кокса, почувствовал кого-то у себя за спиной, как понял, что это не Ванюша, и подумал, что пропал, но все-таки справился с растерянностью и лишь по глупости задержался с выстрелом, а потом стрелять было поздно, потому что прибежал Яшка Зотов и крикнул, что к дому подъезжают американцы. Никелированные губные гармошки, костюм говорили сами за себя. Костик впервые слушал жадно, и я сам верил, о чем рассказывал, но подошел Блатыга, и я смутился так, будто каждое мое слово было враньем. И Костик неизвестно почему стал иронически поглядывать. И чем независимее я держался, тем безоружнее чувствовал себя и перед Блатыгой и даже перед Костиком. И это при том, что Блатыга не мог похвастать таким же приключением, как я. Он вообще мог отказаться от рискованного поступка: «Что я, на мусорной свалке голову нашел?»

Колька и в десятой степени не был так смел, как Ванюша, но как-то я заметил, что Ванюша уклоняется от столкновений с ним. Я не решился сознаться себе в этом, но это повторилось.

– Блатные! – объяснил Ванюша, когда я не удержался и спросил его об этом.

– Ты его боишься? – оскорбился я.

– Не в этом дело, – сказал Ванюша.

– Убить его надо.

– За что?

– Фашисты! – сказал я. – Как не русские. Шахтера избили, людей обижают, топор в барак бросили.

– Сам же говоришь, у Шахтера пистолет был в руках... Я ведь тоже в детстве беспризорничал, – вдруг сказал он. – На поездах ездил.

И рассказал, как ездил с ребятами по какому-то замкнутому маршруту на товарных и пассажирских поездах. Пересаживались с поезда на поезд и к концу дня попадали на ту же станцию, с которой уезжали. Дразнили кондукторов, прыгали с вагона на вагон, пугали пассажиров, воровали еду на станционных базарчиках.

– Я же донбасский, – сказал он. – Я и плавать учился не в реке, а в градирне. Ты небось не знаешь, что это такое. Вода техническая остывает. Льется в бассейн из трубы, скатывается по ровчаку. Мы в такой ровчак, как в водопад, прыгали. Прыгнешь и катишься. Начинили снизу. А потом осмелеешь – с середины и сверху. Туда, как в баню, ходили после работы. Там я и голых баб в первый раз в жизни видел. Они разденутся, полезут в воду, а мы подкрадемся, одежду их спрячем.

Неожиданным для меня было и то, что обиженных «блатными» Ванюша тоже не очень жалел.

– Наказали, – сказал он к полному моему недоумению, когда я рассказал ему историю Ивана Шахтера.

– За что?! – возмутился я.

– Наверно, заслужил.

Казалось, он меня дурачит. В первый раз я готов был сам с собой поссориться.

– Ты как блатной, – сказал я, – за что же?

– За испуг, – не сразу ответил Ванюша.

Эту игру я помнил: растопыренными пальцами тебе неожиданно тычут в глаза и, если ты сморгнешь, говорят: «За испуг!» На школьных переменах мы ходили, тарашась, учились не моргать.

Это была неприятная и утомительная забава. Никто не спрашивал, играешь ты или

нет, и глаза всегда были в опасности. На переменах нельзя было отвлечься ни на минуту.

– Глупости! – сказал я. – За испуг не наказывают.

– Наказывают, – сказал Ванюша. – Еще как!

16

Яшка Зотов появился в лагере, когда к новичкам относились уже с подозрением. Зачем пришел в лагерь, в котором тебя не знает никто? Почему ушел оттуда, где знают все? Он сразу поразил меня своей историей. О концлагерях мы много слышали, но живого концлагерника видели в первый раз.

– Оттуда не выходили живыми, – сказал Яшка.

Еще поразил меня настойчивостью, с которой добывал оружие. Пистолет в то время уже трудно было раздобыть: найти, купить, на что-то обменять. Яшка притащил из прилагерного леса винтовку и стал выпиливать обрез.

Пистолет владельцу приятно щекочет нервы, в кармане он почти не заметен и ни к чему не обязывает. Обрез груб, неудобен и пригоден только для того, чтобы из него стрелять.

К военнопленным Яшка прибился потому, что сам был из военнопленных. Мне сказал:

– Меня поздно мобилизовали. В первый раз медицинская комиссия забраковала. Стыдно было.

– Почему? – удивился я.

– Все ребята здоровые, а я больной! С девушкой дружил. Выходит, обманывал. Она пришла провожать, а я выхожу и говорю: «По здоровью отложили».

– Почему обманывал? – опять не понял я.

– Жениться обещал, а сам больной!

– Ну и что? – сказал я.

– Ну, как... На улице стали говорить: «Наших взяли, а Зотов больной!» Из клуба выйдешь, спрашивают: «Ты чем болен?» В клуб пойдешь – то же самое. У Клавы – мою девушку Клава зовут, она меня и сейчас ждет – спрашивают: «Чем Яшка болен?» Или предупреждают: «Он туберкулезный». Она со слезами ко мне: «Давай поженимся, чтобы болтать перестали». Я ей говорю: «Вернись после войны, поженимся».

– Ты знал, что возьмут?

– Уверен был.

– А почему ты думаешь, что она тебя и сейчас ждет?

– Уверен.

Эта жившая в нем уверенность притягивала меня к нему. Он рассказывал, как Клава плакала, когда его взяли в армию: «Не хочешь жениться, пусть все так будет. Мне все равно. женишься или бросишь меня, а я буду тебе верна». У него была потребность говорить, а у меня расспрашивать его о ней. Я хотел знать о ней все: какого она роста, какого цвета волосы, глаза. Я хотел понять загадку Яшкиной уверенности и загадку Клавиной верности и любви. Я ведь тоже мечтал, что кто-то мне вот так скажет, но в глубине души считал, что это невозможно.

Яшка был всего года на три старше, но как бы на много лет взрослее меня или даже Ванюши. И это было тем неожиданнее, что лицом, ростом и сложением он был подростком. И еще он удивлял тем, что был из далекого волжского поселка, где все эти годы не знали даже затемнения и обижались на военкоматовскую медкомиссию за то, что она перед девушкой позорит. Понятнее было бы, если бы к тому, что с ним случилось потом, его готовила жизнь в большом городе. Переход же от вялой поселковой жизни прямо на фронт, в окружение, в лагерь военнопленных, а потом в

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
концентрационный лагерь сам по себе должен был оказаться для него смертельным. Но он не только выжил, но и нисколько не растерял уверенности, что жизненные правила, которые он усвоил у себя дома, самые лучшие. Обиду на медкомиссию, разговоры с Клавой и вообще все, что было перед войной и перед мобилизацией, он помнил так хорошо, словно это было вчера. Помнил звания и фамилии военкома и председателя медицинской комиссии, свои разговоры с ними, их обещания и свои требования и просьбы.

– У нас красиво, – говорил он. – Места лесные. За Волгой луга.

– Лес рядом с поселком?

– Километрах в пятнадцати, – говорил он. – А есть в десяти.

Я старался представить себе это «лесное место», рядом с которым нет леса.

Всё это он рассказывал мне потому, что это имело какое-то отношение к Клаве. Иначе мне было бы неинтересно слушать, а ему рассказывать.

Постепенно я не то чтобы поверил, а ощутил, что Клава действительно ждет. Я завидовал этому, не на меня направленному ожиданию, зависел от него, от ежедневных разговоров о нем.

– Но дома тебя считают погибшим или пропавшим без вести, – говорил я.

– Мы договорились, что она не поверит, пока после войны два года не пройдет.

Он стал взрослым не на войне, а еще перед нею, вот что было удивительно. Жениться он собирался, когда ему еще не было восемнадцати. То есть столько же, сколько мне сейчас. И ни одну из своих взрослых забот он не забыл.

А забыть было из-за чего. На руке его была синяя татуировка – четырехзначный концлагерный номер. В концлагерь он попал за побег из лагеря военнопленных.

– Два треугольника носил, – сказал он, – на груди и спине. До сих пор в этих местах притронуться больно.

– Почему? – спрашивал я.

– Треугольники – мишень. Чтоб стрелять в тебя было удобней. Все время их чувствуешь. Кожу обжигает.

– Чем? – не понимал я.

– Ну, ожиданием, – говорил он. – Ждешь все время. Казнили в концлагере почти каждый день.

– Немцев дезертиров последнее время часто привозили, – сказал Яшка. – Привезут, выпустят, они по двору ходят, но мы понимаем, долго в лагере не пробудут.

– Увезут?

– Убьют. День-два походят, на работу вместе со всеми выгонят, а потом казнь. Нас всех в бараки загоняют – это мы уж знаем, немцев казнить. Если русского, поляка, бельгийца или француза убивают, наоборот, всех выгоняют на плац.

– Почему?

– Ну, высшая раса. Чтобы мы не видели, как немцев убивают. И чтобы видели, как наших казнят.

Эти Яшкины рассказы вызвали мучительнейшее любопытство. На плацу я не стоял, но ведь все время был где-то рядом. Хотелось знать, на что решался в последние минуты человек, как вел себя, как выглядел. О чем в мучительнейшие мгновения жалел. Мне хотелось, чтобы Яшка еще и еще раз вызывал из памяти лица этих людей, вспоминал их слова, жесты. Он был рядом, смотрел в глаза жертвам и палачам, сам в любую секунду мог стать жертвой. Но он не мог понять, чего я хочу. Да я и сам не мог. Просто я не в состоянии был уйти с этого плаца перед виселицей, ведь все

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

мы, выжившие, перед ней стояли. Не мог забыть, что это была не шеренга, не каре, а очереди и каждый из нас занимал в ней свое место.

– Кто ругался, а кто молчал, – говорил Яшка. – Забьют человека, он и перед смертью неживой.

Но меня интересовали те, кто ругался. Я догадывался об их ярости и горчайших сожалениях. Все, стоявшие в этой очереди, в момент, делавший их ярость бессильной, должны были жалеть о том, что не доверились ей, пока руки были свободны. Вот что должно было отравлять их последние минуты больше, чем последняя боль и последний страх. Все знаки были нам даны. Все до одного. И все-таки каждый медлил, выбирал более удобный для себя момент.

А может, последние сожаления уходили в большую глубину. Кто знает, за какую оплошность или ошибку упрекнул себя человек в последний свой момент. Отчего последним криком предостерегал стоявших на плацу. Цепь какого страха хотел разорвать.

Этим страхом стоявшие на плацу были скованы. Голос человека, измерившего, какой ценой он платит за свои и чужие ошибки, проникал в их сознание. Это ведь был и их голос, и их крик, но, обессиленные страхом, голодом, безоружные, они стояли неподвижно.

И позор этой неподвижности я тоже знал прекрасно. Своим последним криком погибающий пытался искупить этот позор. Вот почему я хотел знать все, почему добивался от Яшки, чтобы он еще и еще раз вспоминал слова, жесты, лицо, имя. Страстным воспоминанием, казалось мне, мы удерживаем от окончательной гибели не самого человека, а его мысль, которая в последний момент открылась ему так ясно. Он сам уже не мог ею воспользоваться. За ослепительную ясность он заплатил всей жизнью без остатка. Тем большим был наш долг. Равнодушие памяти было бы ужасно. Но Яшкина память было обожжена страшной моей. Стоило к ней прикоснуться, как Яшка становился сам не свой.

Двадцать пятого апреля, всего за несколько дней до конца войны, их выгнали из барачных, посадили в товарные вагоны, привезли в гамбургский порт и начали грузить в старые, ржавые сухогрузы, стоявшие у причала.

Сухогрузов было три. У крупных трапов стояли эсэсовцы, в ответ на вопрос «куда?» замахивались, подгоняли: «Скорей!» Или отвечали неопределенно: «На остров!» Об этом острове, на который свозят заключенных, было объявлено еще в лагере. И зловещая неопределенность была уловлена сразу.

Эсэсовцы стояли у трапа и на палубе, а внутри действовали капо. Дубинками гнали заключенных вниз. Корабль был большим, многопалубным.

– Палубы четыре или пять, – сказал Яшка. – Не знаю точно. Снизу, с причала, как многоэтажный дом.

Трап, ведущий вниз, был узким, непривычные ноги срывались с коротких ступенек, руки судорожно хватались за перильца, от ударов капо нечем было защищаться. И люди поспешно спускались дальше вниз.

– Я сразу понял, терять нечего, – сказал Яшка. – Со мной друг был, Зинченко Толя. Акробат. Цирковой или любитель, не знаю. Но сила у него и в лагере еще оставалась. Паниковал, однако, быстро. А ко мне страх только потом приходит. Я ему говорю: «Снизу никому не выбраться. Надо наверху остаться».

Они попытались оттолкнуть капо.

– Вот порода! – сказал мне Яшка. – Ведь в поту, гад! Сам в могиле, а бьет – никак не насытится. И не как-нибудь, а насмерть.

Зинченко схватил руку капо с дубинкой, тот стал звать на помощь охранника. Немец, приглядываясь, наклонился над люком, поискал автоматом, в кого выстрелить, и капо, и Зинченко шарахнулись друг от друга. Яшка и Зинченко бросились в темноту. За ними не погнались. Корабль доверху набивался людьми.

– В лагере все жили отдельно, – сказал Яшка, – французы, поляки, русские. А тут

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
в темноте слышишь: по-польски, по-голландски, по-французски говорят. Всё перемешалось. По одному этому видно, к концу идет.

Те, кто оказался внизу, это почувствовали раньше всех. Стали рваться назад, вверх. Их заперли, и корабельное железо гудело от крика и стуков.

Почти неделю не давали воды и еды. Охранники несколько раз спускали по трапу ведра с водой, и у трапа делалось что-то страшное. Яшка сказал Зинченко:

– Когда все начнется, там самая гибель будет.

По затхлому трюмному запаху было слышно, как дряхл сухогруз. Бортовая обшивка истлела. Зинченко отдирает доски. За обшивкой находили остатки сахарной пудры, сохранившейся от каких-то давних перевозок.

Расположились подальше от трапа, к которому инстинктивно жались все. Над головой был грузовой люк, который они надеялись открыть в решающий момент.

Утром третьего мая услышали возню на палубе, топот каблуков по железу, какие-то команды, визг деревянных кранцев – их терло между бортом сухогруза и причальной стенкой. И капо, дежуривший у трапа, выглянул вверх. Маленький буксирный пароход тянул сухогруз к выходу из порта.

В путь двинулся еще один сухогруз. В трюме слегка посвежело. От притока свежего воздуха, движения усилился страх, но оживилась и надежда.

Все напряженно вслушивались в поскрипывание обшивки, в покачивание, начавшееся, когда корабль вышел в море, но, главное, в непривычную тишину на палубе. У капо, стоявшего на трапе, спросили:

– Где охрана?

Но капо заорал на тех, кто приблизился к трапу:

– Назад!

Ему крикнули:

– Как крыса потонешь, а лаешь как собака!

И тут все услышали то, что давно готов был уловить напряженный слух, – шум приближающихся самолетных моторов. В той стороне, где шел соседний сухогруз, раздались несколько взрывов, пулеметный стрекот. Грубое лицо капо, за которым все следили, искажилось. «Горит!» – крикнул он, бросился по трапу вниз, и тут же сухогруз накрыло самолетным ревом. Звук был такой, будто летчик сажал машину на палубу. Рядом с сухогрузом ударило так, что, казалось, лопнули ушные перепонки и раздались корабельные переборки. Сухогруз как будто перестал двигаться. Еще два взрыва сотрясли его. Кто-то выглянул наружу.

– Уходит! – крикнул он о буксире и показал в сторону соседнего корабля. – Горит!

В тишине, установившейся на секунду, были слышны крики запертых на нижних палубах, пулеметные очереди над соседним кораблем и паровозный шум свежющего моря. После взрывов авиационных бомб он почему-то стал яснее. Люк открыли, и снизу хлынули вверх. Но тут же все втянули головы. Самолет опять шел на корабль. Когда звук стал таким, что столкновение казалось неизбежным, корабль вдруг на что-то наткнулся. Все услышали жуткий хруст, увидели вспышку, и по тому, как разом сместился центр тяжести и все куда-то покатались, словно в неожиданно остановившемся автобусе, почувствовали – попал!

– Это не немцы! – закричал тот, кто стоял на верхней ступеньке трапа. – Круги на крыльях! Англичане! Что вы делаете! – замахал он руками на вновь приближающийся самолет. – Что вы делаете!

Увлекая несколько человек, он вдруг рухнул на тех, кто стоял ниже, а по верхней палубе прогрохотала пулеметная очередь. На освободившийся трап хлынула толпа. Казалось, ее бросило туда образовавшимся креном, а крен еще больше увеличился от прилива толпы. Зинченко тоже кинулся со всеми, но Яшка удержал его:

– С ума сошел! Делай, как решили!

Зинченко смотрел сумасшедшими глазами, но подставил плечи. Яшка влез ему на спину и попытался открыть люк.

– Стой на месте! – кричал он на Зинченко.

Ему казалось, тот гнется от нетерпения. Но сам с такой силой давил ему ногами на спину, что Зинченко гнулся невольно. Люк не поддавался. Рядом в разошедшейся от взрыва обшивке «дышала» какая-то доска, и Яшка пытался раскатать ее. Сил не хватало, и он сказал Зинченко:

– Попробуй ты!

Им не сразу удалось поменяться местами. Яшка едва удерживался на ногах, когда Зинченко взбирался ему на спину. Наконец тот сумел поймать момент и ухватиться за отставшую доску. Он ее сломал, и Яшка почувствовал, ноги Зинченко покачались и исчезли в проломе. Секунды тянулись, у Яшки сжало сердце, когда Зинченко свесился вниз и протянул руку.

Первое, что Яшка увидел, выбираясь наверх, был самолет, идущий прямо на него. Крылья с опознавательными английскими знаками едва не срезали корабельную мачту. Видна было сверкающая пулеметная струя, угодившая в люк, из которого лезли люди. Виден пилот в прозрачном колпаке. Казалось, он сейчас разберется и чудовищное недоразумение прекратится. Но самолет опять заходил на сухогруз.

Палуба стояла наклонно. Доска, которую Зинченко бросил в воду, летела невероятно долго. Он прыгнул вслед за ней и тоже, казалось, долго летел и еще дольше не выныривал на поверхность. Потом выплыл, нашел доску, уцепился за нее и крикнул Яшке:

– Прыгай!

Голоса Яшка не слышал, видел, как тот приглашающе машет рукой. Самолет приближался стремительно, палуба наклонялась все больше, и Яшка прыгнул. Однажды он провалился в Волге в прорубь. Ощущение было еще страшнее. Вода в Северном море весной не теплее, чем в Волге зимой. А над головой сомкнулась такая толща, что, казалось, ее никогда не пробить. На секунду не захотелось и возвращаться. Но он выплыл и схватился за доску. Из подводной глухоты он выплывал так, что это должны были услышать и летчики. Берег, который был хорошо виден с палубы корабля, теперь отодвинулся безнадежно далеко. Дыхание, перехваченное ледяной водой, не восстанавливалось. Оно должно было совсем оборваться, когда они увидели ржаво-зеленое днище своего корабля. Он опрокидывался все быстрее, а их с Зинченко понесло на доске по какому-то кругу. Когда они оказались спиной к берегу, сухогруз исчез под водой.

Невозможно было в это поверить, но они были одни на воде. Когда волна поднимала их, они вглядывались, но видели только бесконечное движение холодной воды. Они перестали видеть горящий сухогруз – час, два или двадцать минут их относило от него, Яшка не знал. Потом услышали стук мотора и увидели идущий на них катер. Что за катер, зачем к ним идет, старались понять по людям, стоящим на палубе. Но было уже почти все равно. Когда с борта спустили багор, Зинченко ухватился за него. Его вытащили наверх и протянули багор Яшке. Он тоже схватился, но, едва его приподняли, руки его разжались, и он, как ему показалось, ушел под воду глубже, чем когда прыгнул с корабля. Подумал: «Все, конец». Выплыл и не увидел рядом с собой ни доски, ни катера. Потом услышал стук мотора – катер подрабатывал к нему. Опять опустили багор, и Зинченко перегнулся, чтобы подхватить Яшку под руки.

На рубке, спасательных кругах, пожарных ведрах можно было прочесть, что это гамбургский портовый катер. В тесном помещении, куда их молча отвели, Яшка и Зинченко дрожали в своих мокрых нижних рубашках и кальсонах – одежду с лагерными метками они выбросили в море – и пытались телом обогреть и обсушить друг друга. Им не предлагали сухой одежды, не несли чаю или хотя бы горячей воды. Никто не входил, не задавал вопросов. Так продолжалось довольно долго. Потом по каким-то звукам уловили, что катер причаливает. К ним заглянули и поторопили:

– Лос!

Они вышли на палубу и увидели, что катер причалил к малоллюдному месту. Вблизи железная дорога и служебная дорожная будка. Не зная, что думать о своих спасителях, они в тех же кальсонах и нижних рубашках побежали к ней. В будке нашли дорожные инструменты и старую рабочую одежду, в которую кое-как переоделись. Утром голод заставил их выйти на улицу. На улице встретили ликующих русских, освобожденных из лагеря военнопленных. В городе уже были англичане. Англичанам они так же боялись попадаться на глаза, как и немцам. Однако пошли в лагерь с русскими. Там их накормили, английский комендант расспрашивал о том, что с ними произошло третьего мая. Сам он ничего объяснить не мог.

В этот страшный день Яшка и Зинченко не одни добрались до берега. Однако тех, кто чудом доплывал, встречали эсэсовцы. Уже у берега было убито более ста человек. Эсэсовцы оставили заслон, дежурили на берегу несколько часов и ушли перед самым приходом англичан.

– Сговорились, это ж ясно, – сказал Яшка.

Несколько дней по городу в мундирах со всеми орденами и знаками различия маршировали и просто ходили группами бесконвойные эсэсовцы и немецкие военные моряки. Непонятно было, кому принадлежит город сегодня и кому будет принадлежать завтра. Яшка предложил Зинченко уйти. Перебраться хотя бы в американскую зону оккупации. Зинченко отказался, и Яшка ушел. Так он оказался у нас.

Война заканчивалась, как и начиналась, чудовищной жестокостью. Вот что было ясно. Не изменились те, кто ее начинал. Отдавший главный приказ ни к чему не мог принудить эсэсовцев. Его, возможно, уже не было в живых. Они сами убили безоружных людей.

Это была не только месть победителям, но и вызов всему миру. Так я чувствовал. Жестокость не начиналась и не кончалась войной. Она была делом эсэсовцев, и они стремились успеть как можно больше.

Загадочной была наглость, с которой они маршировали по занятому англичанами Гамбургу. Загадочно участие английских самолетов в этой истории.

Было множество загадок поменьше, мучавших меня. Почему моряки портового катера, вытащившие Яшку и Зинченко из воды, не сделали чуть больше? Почему не дали им сухой одежды? Не принесли горячей воды? Как странно здесь сочувствие походит на равнодушие, а равнодушие на жестокость! Как мог капо бить заключенных, понимая, что тоже приговорен? Как жить, сознавая, что за гибель стольких людей невозможно отомстить?

В их смерти не было ничего военного. Сдались эсэсовцы без единого выстрела. Значит, убийство и капитуляцию планировали одновременно.

Но было в этой истории нечто, возбуждавшее надежду, заставлявшее смотреть на Яшку с восхищением. Все было предусмотрено, чтобы не спасся никто. Но и из этих гибельных обстоятельств нашелся выход!

17

Глядя на Яшку, мало кто сомневался, что все, рассказанное им, так и было. Яшка для этого не давал повода. Главное тут, пожалуй, то, что он сам был человеком без сомнений. Его трудно, например, было убедить, что кто-то о себе врет.

– Зачем? – не понимал он. И враждебно настраивался к убеждавшему.

Еще меньше сомнений или колебаний было в его поступках. Очень быстро в нашей компании к нему перешла роль человека, который первым открывает опасную дверь, решает, куда идти, или затевает опасный разговор. Это случилось само собой, потому что Яшка выходил вперед как раз тогда, когда остальными овладевали сомнения или колебания. И даже Ванюша скоро уступил ему это право.

Я спрашивал у Яшки:

– Когда корабль перевернулся, что ты подумал? конец?

Яшка смотрел, припоминая.

– Нет, – сказал он, – почему-то другое чувство было. Теперь выживу!

– Но ведь вода ледяная, – настаивал я. – До берега далеко.

– Не знаю, – сказал Яшка. – Ты спрашиваешь, а я и сам удивляюсь, но чувство было такое: главное позади.

– А эсэсовцы на берегу?

– Мы же о них не знали.

– А когда катер увидели, что решили?

– Да ничего. Просто ждали. Вода-то такая, все равно концы вот-вот отдашь!

Эти вопросы я готов был задавать бесконечно.

– Что ж, на катере вам совсем ничего не дали: ни обсушиться, ни обтереться, ни водки, ни горячего чаю?

– Они к нам не подходили совсем, – говорил Яшка. – Они еще долго ходили по морю. Мы уж и ждать устали. А получилось, повезло. За это время эсэсовцы сняли заслон.

Я с восхищением смотрел на него. Только для двух человек случайности сложились так, что они сумели спастись и выбраться. Кого же из многих тысяч такие случайности выбирают?

И когда Яшка предлагал: «Я тут одно дельце придумал. Надо сходить», – я соглашался без колебаний.

Страх, сомнения, жалость, конечно, были. Но, я уже объяснил, у них не было слов. Слово сомнения или жалости показалось бы кощунственным. А Яшка говорил:

– Я разведаль один дом. У хозяина четыре работника. Форму не снимают. Сразу видно – притон эсэсовский. Не боятся, гады. И в доме, наверно, ничего не прячут.

Тут было важно то, что в доме много мужчин. Значит, не боятся нашего налета и не прячут, как стали делать другие бауэра, одежду и еду в какие-нибудь тайники.

Собрались впятером: Ванюша, Николай, Яшка, я и пожилой дядечка, которого привел Яшка и которого никто не знал. Дядечке дали пистолет без патронов. Это был парабеллум времен первой мировой войны, выглядел он, как современный, но патронов к нему не было. Дядечка не возражал. Идти он соглашался, но надеялся, что все обойдется вовсе без выстрелов.

Выходили из лагеря задолго до комендантского часа, чтобы не привлекать к себе внимания и чтобы засветло пройти по лесу большую часть пути.

Фамилия дядечки была Никаноркин. Ванюша вместе с ним вышел из лагеря первым. Потом пошли Николай и Яшка. Я шел последним. Когда проходил мимо барака блатных, из торцовой выглянул Блатыга и дружелюбно подмигнул.

Я сделал вид, что не понял. Тогда он и позвал:

– Айн момент!

Отступая от двери вглубь комнаты, он гримасничал, показывая, что я зачем-то очень нужен. Нет ничего хуже, когда тебе дружелюбно подмигивает Блатыга. Я сразу почувствовал свое одиночество и пожалел, что не вошел с Ванюшей или Яшкой.

– Не могу, – сказал я. – Ванюша и Яшка ждут. Я называл тех, кто мог за меня заступиться.

– Да чего ты боишься! – сказал Блатыга. – Я тут один.

Торцовая комната, из которой выглядывал Блатыга, была попросту барачным

Плотина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

тамбуром. В комнатку его переделали еще немцы. Помещалась в ней только одна койка. Тот, кто занимал тамбур, жил один. Добивались этого преимущества Блатыга, Сметана и еще кто-то из той же компании. Страсти горели сильно, и некоторое время у комнаты не было постоянного хозяина. Но потом ее без споров уступили новичку. Звали его Шура Мимик, и было это прозвищем или фамилией, я не знал. Это был широкоплечий малый лет двадцати пяти с красивым и даже приятным лицом. Одевался он, не придерживаясь блатной моды, не имел наколок или коронки на здоровом зубе, говорил, не употребляя блатные словечки, и было не очень понятно, по каким признакам Блатыга, Сметана и вся остальная компания его так безоговорочно признала. У него были какие-то дела в Эссене и Вупертале. Для наших лагерных приблатненных это было непостижимо далеко. Привозил он оттуда вино, сигареты и какие-то вещи. Тогда в комнатке пили и шумели. Но голоса Мимика в этом шуме не было слышно.

Окна в тамбуре не было. Дверь держали открытой, чтобы свет проникал, а когда пили, – и для куражу. Заглядывающему на шум, на выкрики можно было сказать: «Тебя сюда звали? Иди, иди!»

Проходя мимо, я тоже, как всегда, покосился, и получилось, сам взглядом напросился на приглашение Блатыги. В общем, я дрогнул и поднялся по ступеням. Уже на первой почувствовал – Блатыга не один. С порожка увидел сидящих на койке Сметану и Мимику. Они не глядели на меня. На секунду появилась надежда, что Блатыга сам по себе. Им до него нет дела. Я даже хотел упрекнуть Кольку: «Чего же ты врешь!» Но по его смеющемуся лицу и по их нарочито отрешенному виду понял, что поймался. Надо было повернуться и уйти, но и этого я уже не мог. Что-то мешало оторваться от дверного стояка, о который я...

(роман остался незавершенным)

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://seminvitaly.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!